

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

5/2025



В номере:

Праздник со слезами на глазах

80-летие Победы в Великой Отечественной войне — повод еще раз оглянуться на события тех лет и услышать эхо, долетевшее до наших дней, изменившее судьбы людей, народов и стран и уже в XXI веке определяющее их настоящее и будущее.

Для поколения Великой Отечественной та война не случилась такой уж неожиданностью. Её ждали, к ней готовились, про неё слагали песни, снимали фильмы. И всё же она накатила, как тяжкий локомотив, подминая под себя всё привычное, дорогое, любимое, она прошла по всем адресам и судьбам. Но прежде чем стать общей участью для всех, она потребовала личного выбора для каждого — войти в свои распахнутые двери. Повесть Георгия ГРАТТА «Двери войны» — о первых днях войны, о мистической её неизбежности и готовности к преодолению.

Для Дениса КОЛЧИНА, екатеринбургского журналиста, освещавшего военные конфликты в разных точках постсоветского пространства, важно, чтобы люди, о которых он пишет, понимали, что «имеют дело не с подосланным соглядатаем, а с увлечённым альтруистом». В повести «Чёрный сад» он возвращается к этому опыту и формулирует свою позицию так: «Продемонстрировать отсутствие отличий — вот главная идея, главная мысль, волновавшая меня тогда и не оставившая до сих пор. Мысль о том, что, кто бы с кем из-за чего ни воевал, кровь у всех одинаковая, и горе матерей одинаково, и дети одинаково тоскуют по родителям, ушедшим до времени».

«Вагиф и он, Артур. Вот они идут. Между ними возникло понимание, какое бывает между одинаково уставшими мужчинами. Не очень молодыми, курящими одни и те же горькие сигареты.» Вагиф — «опытный военный», Артур — фотокор, в прошлом снимал букеты цветов, теперь — войну. Герои рассказа Сухбата АФЛАТУНИ «Цветы» — азербайджанец и армянин. В этой кровавой войне — между мужчинами и женщинами — они по одну сторону.

Тема войны возникает и в поэтической рубрике майского номера. Подборка живущего в Туле Алексея ДЬЯЧКОВА запомнится стихотворением «Город Марии» — о трагических событиях в Мариуполе и судьбах его жителей. Константин БЫЛИНИН из Челябинска размышляет о том, что жизнь его «для Родины и сына — для сыновей, чтоб жили без войны». В стихах поэта из Новосибирска Кристины КАРМАЛИТЫ много боли: «нас всегда война любила», но и надежд на мирные времена: «Отдохни, страна моя родная, / рюмку за победу наката».

Этнографическое путешествие

«Один из первых храмов на нашем пути. Встречаются очень древние, многим полторы-две тысячи лет. И стоят, ветер истории им нипочем. ...Падают царства, приходят и уходят завоеватели, а храмы, если их не разрушили чужеземцы, сияют на радость миру». В рубрике «Нация и мир» — путевые заметки Владимира ЛИДСКОГО: «Мы видели глубинную Индию, такую, какая она есть на самом деле...»

«Поклон через моря»

К 85-летию Иосифа БРОДСКОГО — заочный круглый стол, в котором участвуют поэты разных поколений. Евгения Джен БАРАНОВА: «Портрет Иосифа Александровича на футболке или чашке — вещь такая же неувидительная, как Че Гевара на школьном пенале или Довлатов в названии рюмочной. Лирический герой Бродского оказался достаточно привлекателен, чтобы стать кумиром стильных девушек эпохи эмо. Какая ирония!» Алексей АЛЁХИН: «Явился первый поэт. И дело не в том, что первый, а в том расстоянии, которое сразу отделило его от вторых — притом что тоже настоящих, значительных. Бродский стал последним по времени великим русским поэтом XX века».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2025.
Подписано в печать 22.04.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ДЬЯЧКОВ. Мира май и Мира труд. <i>Стихи</i>	3
Георгий ГРАТТ. Двери войны. <i>Повесть</i>	9
Кристина КАРМАЛИТА. Дорогою недуговой. <i>Стихи</i>	66
Денис КОЛЧИН. Чёрный сад. <i>Повесть</i>	70
Константин БЫЛИНИН. Окопные стихи	122
Илай ИЛИМАР. Колдун. <i>Повесть</i>	124
Наталья ПОЛЯКОВА. Простыми словами расскажешь о сложном.... <i>Стихи</i>	154
Сухбат АФЛАТУНИ. Цветы. <i>Рассказ</i>	157
Тимур МАКСЮТОВ. Белый палач. <i>Рассказ</i>	166
Настасья РЕНЬЖИНА. Ходун. <i>Рассказ</i>	174
Евгений РЕЗНИЧЕНКО. Куда ж нам плыть? <i>Стихи</i>	181
Надежда КЕЛАРЕВА. Скоропостижнее, чем смерть. <i>Стихи</i>	184

ПРОЗА. ДОС

Елена ГОРДЕЕВА. Три ранения лейтенанта Мареева. <i>Воспоминания дочери</i>	186
---	-----

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Елена ТИМОХИНА. Пекарь. <i>Рассказ</i>	194
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Владимир ЛИДСКИЙ. Индия в сердце. <i>Этнографическое путешествие</i>	198
--	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Дмитрий ШЕВАРОВ. Тоска по Татарскому	211
--	-----

БРОДСКИЙ 85+

«Жизнь начинается заново именно так...» В заочном круглом столе участвуют: Алексей АЛЁХИН, Евгения Джен БАРАНОВА, Вера ЗУБАРЕВА, Геннадий КАЛАШНИКОВ, Алёна КАРИМОВА, Марина КУДИМОВА, Вадим МЕСЯЦ, Вадим МУРАТХАНОВ, Олеся НИКОЛАЕВА, Александр ПЕРЕВЕРЗИН, Сергей ПОПОВ, Андрей ФАМИЦКИЙ, Феликс ЧЕЧИК, Константин ШАКАРЯН, Ганна ШЕВЧЕНКО	232
---	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Ольга БАЛЛА. Четыре персонажа в поисках выхода (Д.Безносков. «Территория памяти»)	256
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Dum spiro spero	263
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Радостная и лёгкая	268
--	-----

Алексей Дьячков

Мира май и Мира труд

Теперь когда

Старик! Старик! — мне вслед хохочут дети,
В густой траве светясь на склоне дня.
Когда меня в лесу художник встретит,
Предложит послужить моделью для

Апостола Петра. Гуляет манна
И прячет в складках покровов и риз
Секрет, хранить который в детстве с Павлом
До смерти на мизинцах поклялись.

С обрыва взгляд на день прошедший брошу,
Вдохну смолу и хвою глубоко.
Свет надо мной, как каравай, раскрошен,
Расплёскан по земле, как молоко.

В густой листве хохочут дети, пусть их.
На стрелке монотонно в рельсу бьют.
Всю ночь тревожным скрипом в захоlustье
Старинные качели выдают.

Дьячков Алексей Владимирович — поэт. Родился в 1971 году в Новгороде. Окончил строительный факультет Тульского политехнического университета. Работает инженером-строителем. Публикации в журналах «Урал», «Новый мир», «Арион» и других. Автор двух книг стихов: «Райцентр» (М., 2010) и «Государыня рыбка» (М., 2013). Живёт в Туле.

Город Марии

Наде Степаненко

Хрустел стеклом здоровый на всю голову,
Пыль поднимал — ухоженный, живой,
Заглядывал на кухни, в спальни, комнаты,
В завалы бывшей площади жилой.

Фарфора, книжных полок — проза, лирика, —
Разбитых люстр, распоротых перин,
Брёл мимо книг, стиралки, холодильника,
Взрывной волной оплавленных перил,

Кусков обоев, штор, прижатых ставнями,
Комода, открывающего зев,
Всего, что люди в панике оставили,
Как следует собраться не успев.

Тюки тряпья, засиженные гулями,
Стекла, метлахской плитки мелкий бой
Вползали в шахту, лаз, в проём обугленный,
Выглядывали из двери любой.

Гнул провода, шуршал под кровлей гравием,
Из мусора бумажки поднимал —
Счастливая семья на фотографии,
Закат над морем, солнечный вокзал,

В саду застолье под черешни ветками,
Две кошки дремлют, а щенок игрив...
То выбивал из пачки сигаретку, а
То, грубо смяв, бросал, не прикурив.

Округой изуродованной, адовой
Ходил, читал забор, косяк, окно:
Нет никого! — и — *Не стреляйте!* — складывал
В бессонницы сплошное полотно.

С барыгами, старухами и старшими
Беседы вёл, с творцами страшных драм,
С одной Марией... И жалел, что спрашивал.
Но слушал молча, не перебивал.

О том, как гарь и копоть небо застили,
Как тьма копила снежные слои,
О мародёрстве, жадности, безвластии,
Добре чужих, жестокости своих.

Метались по углам, кустам, строениям...
Как жили ночи чёрные и дни
Всю зиму на компотах и соленьях
В подвалах с онемевшими детьми.

Под лестницей с разорванными трубами
Дремали среди тряпок и икон.
Как присыпали грубым снегом трупики
За теплотрассой, здесь, недалеко.

Перебирала по карманам денюжку,
Ждала недобрый шёпот: «Ну, подъём!»
Как ночью шла из города, доверившись
Соседке с сыном, взрослым бугаём.

Пристроились при госпитале прачками,
И веселее время потекло.
Подсели на тушёнку и горячую
Перловку из солдатских котелков.

«В решениях моих не много умысла.
Не за года держалась, а за миг.
Притихло чуть, и вот, одна вернулась я.
Остался дом, не то что у других».

Лицо живое керосинки бликами
Озарено, седая прядь в каре.
Заслушивался гулом, звякал вилкою,
Размешивая сахар с нескафе.

Пир королей в дворце, покрытом инеем.
Шут сам себя, рыдая, бьёт под дых.
Вставал и уходил. Опять отлынивал
От сверок процентов, накладных.

Без рук, без ног, без имени и отчества
По склону к мелководью семенил,
Пока прораб в строительном вагончике
С бригадой отрывался без семьи.

Мутило от волны, движенья, качки и
Гниющих на сыром песке медуз.
Была вода зашкурена наждачкою.
За облаком тянулся сухогруз.

Обратно шелестел — дворами сталинок,
Где в домино играла с вахтой голь,
Где на руинах мастерил завалинок
Блаженный, чтоб отведать алкоголь.

Алели двор, листва и пыль кирпичная,
Завод алел средь рукотворных скал.
Воронежских философ из античности
В убогой голубятне собирал, —

Орловских, николаевских, камышинских,
Турманов сизокрылых всех пород.
Багровый сад всю ночь за шторкой с вышивкой
Водил свой монотонный хоровод.

Дни

Лопатами угол заставлен и мётлами.
Запасы просыпаламышь.
Жена тело мужа застывшее, мёртвое
Нашла среди санок и лыж.

Услышала, капает влага из краника,
На вой откликается дом.
Зачем-то склонилась и шапку поправила
На лысом затылке родном.

Холодным от мира отрезана лезвием,
Сутулясь, вернулась домой.
Нашла документы, аптечку с магнизией,
Достала костюм шерстяной.

Задумчиво выключив радиопение,
В себя провалилась, как в сон,
Чтоб в мыслях его воскресить на мгновение
На пляже пустом в несезон. —

Лежит, не раздевшись, в тени вялой зелени,
Как рыцарь, нашедший Грааль,
На облако в небе, на кроны рассеянно
Глядит, на далёкий корабль.

Дрожит ветка тиса серебряным листиком,
Стоит с сизой пеной волна... —
Так долго высматривал что он, выискивал,
Теперь разбирает она.

Нолик

Скорый поезд пролетит по полустанку,
Разметает жёлтый лист — тебе водить.
Для ребёнка настрочи напоминалку.
Уходя, на холодильник примагнить.

Постоянно отключаясь, пропадая,
Проезжая Мира май и Мира труд
На сиденье дребезжащего трамвая,
Запланированных дел тверди талмуд.

Ужас инея без крестиков и рожниц.
Наломал хрустальный день карандаши,
Чтобы ты, о позднем ужине тревожась,
Побежал, засобиравшись, поспешил.

Перед выходом, уже надев фуражку,
Провались в закат, раскинувшийся вширь,
Чтоб испуганно бухгалтерша Наташка
Завалывшийся искала нашатырь.

Приступ

Чуть не умер, еле ожил.
Полыхал всю ночь, как куст.
Стоя, сидя, полулёжа
Ждал развязки, слушал пульс.

Как развалина, калека,
Как хронический больной,
Гулко кашлял, слушал эхо,
Тряс огромной головой.

То твореньем, то ошибкой,
То волненьем от винта —
Был то жертвой, то наживкой,
То святым внутри кита.

Словом Боже отовсюду
Голос мой звучал светло,
Как случайная посуда,
Как мансардное стекло.

Таблетка

Начинают светлеть занавески на окнах.
Скоро небо покажут и дым из трубы,
Скоро трое волхвов пациенту в наколках
Принесут на железном подносе дары.

Мало мужества лечь, притвориться заснувшим,
Отсчитать по минутам четыре часа.
Отделить от костей мясо рыбы на ужин.
Без работы остаться в канун Рождества.

Кровь по хрупким гонять капиллярам, по венам,
До спасения утром выстраивать путь.
Мало мужества слушать, дышать равномерно,
От постели себя отрывать как-нибудь.

Рассыпается солнце от междоусобиц,
В болтовне разговора теряется нить.
Хорошо, о бессоннице не беспокоясь,
Свою голову в пух и перо уронить.

Семь

Рулил до ночи, тряся по грунтовке,
Испытывал на прочность тормоза,
Чтоб, заглушив машину на парковке,
Вздохнуть и посидеть, закрыв глаза.

Проснувшись, мёрз и вспоминал о доме.
Входил в подъезд, сутулясь и дрожа.
Овал зеркальный в смутном коридоре
По памяти кого-то отражал.

Любая боль тяжёлый ищет выход.
Спазм затяжной удерживает вдох.
Казалось бы, давно пора привыкнуть,
Что выдох — убедительный итог.

Что добавляет каждая иголка
Сосны за шторой празднику уют.
Деревья каждый раз сбивают с толку,
Закончить мысль о Боге не дают.

Георгий Гратт

Двери войны

Повесть

1

«Эй, по палаткам! Кто там ещё не слышал отбоя?!» — окрик дневального всхлипом болотной птицы прокатился, разорвал тишину и замер, сгинул в чахлом березняке.

«Не по уставу, — хмыкнул себе под нос Тёма, — опять не по уставу». Впрочем, по уставу-то как раз и не положено — он, конечно же, знал об этом. Все знали, что про устав следовало до поры забыть. Чтобы без фокусов! Чтобы никаких там лычек, шпал, ни-ни! Никаких знаков различия. А главное, никакого оружия! Одним словом, летние лагеря, да и только. «Физкульт-ура! Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов!» — полюбуйте! Будто какие-нибудь там скауты, по-ихнему, прыгают, бегают, тягаются на турнике. «Впрочем, нет, скауты — это у англичан, а у немцев нынче совсем другое — юнгер... юнгер... как их там?.. — Тёма запнулся, припоминая свой скверный немецкий. — У них юнгфольк, во как!» Сам-то он немцев не видел ещё, но дозорные говорят, что и у них то же самое — хоронятся, не светятся лишний раз. Кошки-мышки, короче говоря. Взрослые мужики, ну смешно же, ей богу!

А меж тем среди ночи хлопнет вдруг в чаще одинокий выстрел, и опять тишина. И ждёшь, ждёшь продолжения, вслушиваешься до звона в ушах, как по брезенту палатки мелкой дробью сыплют редкие капли дождя. «Полночь... слушай...» — всплыли из глубин читанные где-то слова, а кто автор и что за книга, теперь и не вспомнить. Попробуй-ка, засни после этого. Вот тебе и летние лагеря.

Ещё и месяца не прошло, как комполка Бывалый — и каких только имечек в армии не придумают! — давал вводную:

Георгий Гратт (Воскресенский Георгий Борисович) родился в 1954 году, работает учителем математики и информатики в школе. С 2005 года регулярно публиковался в журнале «Дружба народов». Автор нескольких повестей и романа «Изгнание русского духа, или Улыбайся в Нью...». Лауреат премии «ДН». Живёт в Ярославле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 11.

— Пограничные столбы видали?

— Ну видали, ага. И чё? — хмыкнул тусклым шёпотом Сашка за спиной у Тёмы, но комполка всё равно расслышал.

— А самих погранцов видали? — надал он тревожной меди в голосе. В ответ все угрюмо молчали, и Бывалый сам же и ответил, нащёлкая воронёным стеклом по хромовому голенищу: — Нет, не видали, товарищ боец! Не видали! — и только что не продырявил Сашку своими колючими глазищами. — А почему не видали?! Да потому, что мы с вами и есть эти самые пограничники. Мы теперь на переднем крае, на самом переднем! Там, — ткнул он пальцем куда-то в пространство, — лежит мир, которого никто из вас, сопляков, ни разу не видел, и даже я не видел, хоть давно уже не сопляк. Немцы теперь совсем рядышком, без всякого цейсовского бинокля разглядишь. Немцы теперь с нами морда в морду, чтоб вы знали, могут и стрельнуть, если чё. Это я к тому, чтобы жопу не показывали. А то мало ли... повезут домой в деревянном макинтоше, — и для пушей убедительности постучал костяшками пальцев по фанерной мишени.

Ну, с границей, понятное дело, не поспоришь, а вот с немцами как? Долго ли в прятки играть будем? Про такое, пожалуй, и комполка не расскажет. В задумчивости Тёма тянул папиросу за папиросой. Давно уже в лагере протрубили отбой, а у него сна ни в одном глазу. Да и уснёшь тут разве? — ночь, налившаяся ароматом молодого смородинного листа, опустилась на всю округу, звала, пьянила неясными надеждами. К тому же пару минут назад прискакали девчонки-шифровальщицы из штаба дивизиона, устроили птичий переполох. Слава богу, его не заметили, приютились чуть ниже на краю сосняка. Вот и сидел он на берегу ручья, разгадывая загадки этой странной шахматной партии, затеянной то ли Москвой, то ли Берлином, в которой, как и полагалось, пешкам не дано знать замысла гросмейстеров. И душа его металась, блуждала меж лирикой и политикой, не зная, к чему притулиться. А девчонки всё хихоньки да хахоньки, всё больше про отцов-командиров, и первую скрипку там играла Марго — Сашкина пассия, уж её-то голосок ни с чем не спутаешь. «Хотя почему Сашкина? — ухмыльнулся Тёма. — Не он один в полку на неё глаз положил. Взять, к примеру, того же Вовку Галкина, старшину из хозблока, уж как он только к ней не подъедет: “Вы сегодня такая красивая, Маргарита, ну прямо светитесь! Аж глаза режет! Надо бы вам поостеречься — не выдавать расположение полка”».

Сашка его как увидит, так сам не свой: «Опять сварочные очки не надел? Глаза испортишь». Хотя что Вовка? У неё и без того поклонников навалом, целая коллекция собралась — нет, не позавидуешь Сашке.

«А тебе-то, Тёма, что с того? — усмехнулся он самому себе. — Ты и сам безлошадный. Вот и не суйся, куда не звали, ты же хотел совсем о другом подумать».

Иногда, в пору редких откровений, он любил заговорить с собой как бы в третьем лице. Обычно у него получалась такая вот горькая усмешка: да, была у Тёмы любовь, да сплыла, не срослось, а теперь вот даже письмо написать некому. Но такие откровения случались с ним нечасто. «Да просто девчонки отвлекли, — отмахнулся он от собственных возражений, — с ними всегда так».

А девчонки тем временем чего-то притихли. Тёма невольно прислушался — ушли, может? Нет, замурлыкали песенку нестройными голосами, потом другую, незнакомую, а после уже только одна Марго: «В этот синий-синий свет, где ни слёз, ни горя нет, сердце хочет улететь от бед...» И Тёме тут же припомнилось, как Варька водила его в «Ударник» на премьеру этой комедии. И вечер был такой же тёплый — конец мая или июнь, сейчас не вспомнить, лет пять прошло, — и Варька, как нынче эти девчонки, тихонько напевала обратной дорогой: «Если б мне достать рукой ваш серебряный покой. Звёзды очень далеко». А месяц затёртым серебряным рублём знай себе катил безмятежно над кремлёвскими башнями и — вот же она, реально вот сила таланта! — манил за собой в эту бескрайнюю, бездонную синеву.

Разумеется, Тёма тогда совсем молодой был, зелёный, необстрелянный — только-только школу заканчивал и на сестру смотрел как на взрослого малопонятного человека, но фильм и ему понравился. «А ты? Как бы ты поступил на месте этого холёного американца?» — сверлила его Варька своими хитрыми смеющимися глазами. «А что я? Чего? — отбрёхивался он от её пустой назойливости и пожимал плечами. — Вот доживу до его годов, тогда и спросишь». Больше всего его раздражало в сестре вот это вот менторство, желание поучать. «Подумаешь, и всего-то на пять лет взрослее... ну, на шесть», — кривил он усмешку. Он давно смирился, что она вечно оставалась за старшую на время долгих, порой до полугода, командировок родителей, но терпеть её наставления, особенно при друзьях, это уже ни в какие ворота. А пацаны, мало ли, давили фасон — причёсочка полубокс, чёлка скобкой под левый глаз, кепарик-восьмиклинка на самый затылок. Ей понять разве, кроту учёному? Небось, её оставляли за главу их маленькой «комсомольской ячейки» вовсе не для того, чтобы всякий раз утирать ему нос своими нравоучениями. Другое дело там — приготовить обед, выдать мелочь на проезд, наглядить рубашку, ну и прочее в том же духе, — ворчал он после очередного «урока». Впрочем, со временем он научился избегать скользких тем, вызывающих приступы морализаторства у сестры.

«Весьма неплохое умение по нынешним временам, — согласился с его рассуждениями Марик, когда он поделился с ним результатами этого самоанализа. — Я бы ещё предложил переводить это всё в плоскость юмора». И тут Тёму накрыло волной воспоминаний. «Бедный Йорик! — печально улыбнулся он. — И угораздило же его втюриться в мою сестричку». Но худо не без добра — итогом этой несостоявшейся любви стала их странная дружба с Марком. Может, всё-таки не дружба — товарищество, — сомневался он. Ну в самом деле: Варькин одноклассник — и он, сопляк. Разве могло быть у них что-то общее? Но ведь было! Во всяком случае, хотелось так думать. Хотелось думать, что не только он, Тёмка, сгорал от нетерпения, ожидая новой встречи с Марком, но и тот заходил к ним не просто так, не для того только, чтобы лишний раз убедиться в холодности его сестрицы. Раз как-то Тёма даже побывал у него в гостях — относил конспекты по Варькиной просьбе. Стоял в некоторой растерянности перед дверным звонком, изучая сложную систему оповещения: «Штепа Лев Соломонович, лично — один длинный; по работе — два коротких.

Штепа Полина Исаевна — три коротких. Штепа Марк — четыре коротких». Азбука Морзе какая-то.

Ладно, дружба — не дружба, — отмахнулся от назойливых уточнений Тёма, — но парень-то был замечательный! Не существовало темы, от которой бы он предательски улизнул, а некоторые особо хитрые вопросы он мог разжёвывать с ним часами. Сидели за чаем на кухне и спорили, спорили, спорили... И Варька не раз раздувала им самовар. А потом Марк исчез. Просто исчез, и всё. Прошло несколько дней, неделя, другая... может, заболел? И от Варьки никакого проку. Одно только и выдавила сквозь зубы, что в институте он тоже не появлялся давненько. Наконец, собравшись с духом, Тёма отправился по знакомому адресу, но вместо старой азбуки Морзе на дверях застал новые неизвестные позывные. В отчаянии он чуть было не нажал звонок, как вдруг неожиданно и совершенно отчётливо понял, что никакого ответа не будет — никто ему ничего не скажет. Отрешённо спустился, вышел на улицу, оглянулся. И вся улица будто сгорбилась, ссутулилась, опустела. Кончался февраль, ветреный, хрустящий.

Неужто же правда то, что однажды по большому секрету поведал ему отец? В тот год они с мамой «вернулись с поля» — это на их профессиональном жаргоне означало вернуться в город, в цивилизацию — в позднем декабре, под самый Новый год. Папа нервничал, говорил вполголоса, притушив свет, мёртвой хваткой вцепившись ему в запястье. Предупредил, чтоб под страхом казней египетских никому ни слова! Ни единой душе! Молчок! Он сказал, они били шурфы на золото где-то в Восточном Саяне, и однажды к ним в лагерь пришли беглые, три человека. «Уголовники?» — переспросил он. «Нет, сынок, политические, как при царе». Одного он знал ещё по институту, но имени не назвал: «Лучше тебе не знать его имени». Он проходил по делу о шпионаже в пользу Японии, хотя, как усмехнулся отец, ни одного живого японца в глаза не видывал. Попросили еды и карту, посмотреть карту, — они пробирались куда-то в Монголию. Нельзя было не дать. А любая карта — это такая вещь, которая хранится под грифом «Секретно», её и в отряде-то не всем показывать можно. Помощь беглым — уже статья, а тут целая карта!

«Ты боишься, что тебя арестуют?» — догадался Тёма. «Да нет же! Хотя да, в общем-то да, боюсь, — он не сразу нашёл верный ответ. — Я боюсь за вас с Варей. Мы-то с мамой привычные. Но если что-то случится, будет лучше, если ты узнаешь это всё от меня».

После того памятного разговора Тёме стало как-то особенно не по себе, снились сны один мрачнее другого. Отцу повезло, им всем повезло тогда, что беглецов не поймали, но липкий осадок остался, и прежней свободы как не бывало. Однажды он заговорил об этом с Марком. Нет, он ни словом не обмолвился про тайну отца, — всё в общих чертах, обтекаемо. «Говори уже прямо, — не выдержал тот, — что тебя гложет?» — «Неужели, правда всё то, что пишут про политические процессы? Ты этому веришь?» — «Тебе ведь не для политинформации, правда? Тебе самому нужен ответ?» — Марк мучительно долго молчал, и Тёма подумал, что сейчас последует долгая-долгая лекция, но ответ прозвучал до обидного коротко. «Это спектакль, хорошо срежиссированный спектакль, не более. Каждый раз один и тот же спектакль».

И как бы упреждая ещё не заданный вопрос, уточнил: «А зачем в Риме был Колизей и гладиаторы? Вот всё за тем же».

И после эта тема так или иначе не раз всплывала в их застольных беседах. На память приходили разные нелепые истории, в основном из школьной жизни. Как-то, ещё в девятом классе, они репетировали пьесу про антифашиста, сбежавшего из-под ареста и угодившего напрямиком на их диспут. Всё было очень условно. Посреди общей дискуссии вдруг раздавался страшный стук в двери. Первая мысль — гестапо! И невольное облегчение — арестантская роба, узник. А потом, с его слов, постепенно начинала разворачиваться целая драма: «— Развяжите меня, наконец! — (он поворачивался к ним спиной, протягивая скрученные узлом кисти рук) — А как вы стучали в двери? — Да боже! Я колотил башмаками! Вы что, не верите? — А почему мы должны вам верить? Может, это провокация. — А я ему верю, — вмешалась Руфь». Вообще-то, это была Катя, она играла эту роль. У них тогда что-то было с Катей, ещё с восьмого класса. Вместе ходили на каток, покупали мороженое... но, видимо, не судьба — разбежались по взаимному согласию.

А спектакля, кстати, так и не вышло — вмешалась Софья Петровна, учительница математики и заодно руководитель их драмкружка: «Как вы не понимаете?! Это же политически неграмотно!»

Марик только рассмеялся в ответ на его рассказ: «Разве ты не видишь тут параллелей? А вот ваша математичка увидела!»

Тёма невольно усмехнулся, — ну и наивен же он был в ту пору. И как только Марку хватало терпения с ним нянчиться? Раз как-то взял с собой на рыбалку на Истру, — тряслись в болезненной электричке. Не то чтобы он был заядлый рыбак, просто посидеть с удочкой, развести костерок, сощуриться осеннему солнышку...

По-над дальним лесом вспыхнула, повисла осветительная ракета. Тёма невольно поёжился и огляделся по сторонам. Последние дни было особенно беспокойно в округе, караулы удвоили, поползли слухи о диверсантах и перебежчиках, а вот кто из них кто, поди разбери. На прошлой неделе случилась история: вышел обрыв связи на линии, и они с Сашкой прозванивали провод, когда наткнулись на невзрачного мужичка с корзинкой. Он вроде как грибы собирал в перелеске. «Только вот какие ж грибы в начале лета? — подумал Тёма. — Да и корзина у него странная, как на картинке из букваря. Пришлось отвести в штаб, пусть прояснят, что за гусь. Бог знает, что там выяснилось, но комполка Бывалый объявил им благодарность перед строем за проявленную бдительность.

С Сашкой-то они познакомились ещё на учебных сборах. К ним тогда в качестве тягловой силы приписали рядовых из осеннего набора. Радиостанция и сама без малого пуд тянет, да ещё запас батарей — потаскай-ка! Ребята прозвали их неграми. Сашка не обижался — подумаешь, ну негр и негр, чего тут такого? Не еврей же.

Сам он тоже был москвичом, как и Тёма, правда, обитал где-то у чёрта на куличках, за Рогожской заставой. Тёма в тех краях и не бывал ни разу.

По слухам там проживал в основном рабочий люд — слесари, жестянщики, железнодорожники... — те, что попали в столицу по случаю. В общем, Тёма не больно-то умел общаться с такими, да и чего бы он там забыл? Не то чтобы он считал себя выше, нет, просто они были слеплены совсем из другого теста. Но с Сашкой на удивление проблем не возникло. Сашка был обычным центровым парнем откуда-нибудь со Сретенки — гонял в футбол, мотался в кино, в общем, всё как обычно. А то, что он был на два года моложе, ничего не значило. Даже и к лучшему.

А то ещё было дело — припомнилось Тёме, — в соседней части, говорят, отравили обед — полсостава животами маялось. Якобы диверсант, переодетый в красноармейскую форму какую-то дрянь в котёл подсыпал, да с количеством не рассчитал. И чего только бойцы не набрешут? А ещё о войне говорили, о будущей. В их палатке для младшего комсостава только и пересудов, что о ней — ну когда же уже? Скоро ли? Скорее бы начинать!

Тёма о войне мало думал, ну... почти не думал. А чего о ней размышлять? Такой, как её крутили в кино, точняк не бывать — эту глупость только на пионерских утренниках показывать, а другой... — другой он понять никак не мог. И в самом деле, что есть война? Что у неё в основе? А в основе у неё дух справедливости, дух возмездия, — рассуждал он. — Без него, без этого духа, это уже не война, а обычный разбой. А для разбоя не солдат нужен — бандит, насильник. Ну заняла Германия пол-Европы, а нам-то что прикажете делать? Освободительный поход начинать? А нас кто-то просил? Звал на помощь? Да вроде никто не звал.

Нет, там, в Кремле, что-то другое затевали — не мог же Сталин не понимать таких элементарных вещей.

У Тёмы всегда так: когда сам с собою спорил, мысли путались, сбивались. «Эх, — вздохнул он, — вот бы Марика сейчас сюда! Хотя бы на часок... поговорить, поспорить...»

Он ещё потом и в палатке долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок, а в голове, словно в пустой бочке, стучало гулким чужим голосом: «Нет, нельзя нам самим начинать. Никак нельзя!»

* * *

В тот самый вечер, как Тёма задавался едва ли не Гамлетовским вопросом, который наверняка не давал покоя не только ему, одинокий всадник пробирался краем леса. Он уже третьи сутки трясся в седле и изрядно устал, но рассчитывал нынче к закату добраться до места. Сам-то он — невелика птица, всего лишь вестник, посланник, но приказ, что он вёз, должно было доставить в срок, и потому он спешил. В истории сыщется немало примеров тому, как запоздавшая, не вовремя переданная депеша меняла дальнейший ход событий. Кто скажет, чем бы всё обернулось, если бы не такая предательская задержка. Хотя, с другой стороны, может, это само провидение так исхитрилось, выдернуло из колоды насмешника джокера? Как знать. Так ли, иначе, но любые рассуждения на эту тему ущербны, потому как ни у единой души нет ответа на вопрос: «Что было бы, если бы?..»

Здешние места хорошо знакомы всаднику, прежде он не раз ездил здесь по различным надобностям. Справа тянулся пологий лесистый увал, поросший сосной, слева — неглубокая лощина в пожухлой траве, а вдаль, замыкая горизонт, лежала синеватая гряда холмов — цель его устремлений.

Ему бы и скакать напрямки, серединой долины сокращая маршрут, но он правил, прижимаясь к лесу, стараясь оставаться незамеченным. Мир для него был полон тайн и опасностей, и неясная граница леса и поля, эфемерная граница света и тени служила ему надёжной защитой от неизвестности. Такую уж стезю он выбрал. Или стезя выбрала его? Вопрос спорный.

Конь его тоже был не без странных кровей. Наперво стоит отметить звезду, но не совсем во лбу, а как бы чуть сбоку, вокруг левого глаза, отчего он походил на этакое предводителя конского дворянства с умным моноклем. Но главную особенность таил его корпус. Начинаясь чуть ниже холки и до самого крупа, тянулись узловатые связки то ли мышц, то ли жил, будто под кожей прятались некогда росшие там крылья. Будто это и не конь вовсе, а потомок древнего Пегаса. Впрочем, он и кличку носил такую же — Пегас, видимо, в память о древнем, давно позабытом предке.

Конь и всадник, безусловно, понимали друг друга и двигались осторожно, почти бесшумно. Всякий раз проезжая мимо очередной сосны, Пегас едва ли не тёрся об её ствол, одновременно выцеливая своим моноклем следующую лесину. Со стороны такая нарочитость могла вызвать разве только усмешку, но у неё была своя и очень веская причина. Дело в том, что некоторое время назад оба они — и конь, и всадник — заметили неясную тень. Ну подумаешь, тень, мало ли, чего не бывает? Померещилось... Но она упрямо следовала за ними противоположным краем долины, изредка теряясь всё в том же местном сосняке. Лишь позже, к полудню, когда долина заметно сузилась, удалось разглядеть в этой тени другого такого же всадника. То, что это был враг, теперь уже не оставалось ни малейших сомнений. И двигался он скрытно и осторожно.

Тут взбурлило целое море объяснений, но ни одно из них не предполагало благоприятного исхода. Да и времени оставалось в обрез — до вечера или до конца долины, — смотря как мерить. Разумеется, можно было бы подняться на увал, скрывшись в сосняке, чтобы избежать стычки. Но неизвестно, как поведёт себя противник. Не воспользуется ли он таким преимуществом? Скорее всего, бросится следом, и тогда окажется за спиной. Устроить ему засаду? А что если его цель совсем другая? Если он просто хочет опередить? Тогда он получит явную фору. Будешь таиться, выжидать, а он тем временем окажется далеко впереди.

Вопросы, сомнения роились как мухи. Нет, только не поддаваться минутной слабости! Надо придерживаться прежней тактики — постоянно держать его на виду, — по крайней мере, так можно мгновенно среагировать на любой шаг.

А ложе долины неуклонно сжималось. Бросая короткий взгляд, всадник уже мог различать винтовку за спиной врага. Интересно, сумеет ли он предупредить его выстрел? Не станет же тот стрелять на скаку? Или станет? Невольно потянулся рукой за спину, ощупал своё оружие — старенький верный маузер — пять патронов. Нет, он не позволит какому-то проходивцу одержать верх!

Кристина Кармалита

Дорогою недуговой

Забайкальская баллада

Мы поедem с тобою на Ц и на Ч,
мы Алтайские горы набьём на плече,
поглядим из железной коробки,
как живут забайкальские сопки.

Мы прорежем стальную стрелою Байкал —
разобьём амальгамную гладь как бокал
и сквозь брызги влетим в зазеркалье —
в золотую страну Забайкалье.

Мимо низких вершин, мимо тонких берёз,
мы просмотрим туманные дали до слёз.
На озёрах бурята Ивана
вспоманём времена Чингисхана.

Времена декабристов — их семьдесят пять,
времена Кузнецова — его надо знать,
времена золотого укола
и забытого Халхин-Гола.

Ничего не запомнить на этой земле...
Раньше ездили только на А и на Б,
а до этого вовсе сидели в Москве
и глядели, кто первый умрёт.

Кармалита Кристина Евгеньевна — драматург, поэт. Родилась в 1984 году в г. Новосибирске. Окончила сценарный факультет ВГИК. Стихи и пьесы публиковались в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Юность», «Алтай» и др. Автор книг «Сны» (Новосибирск, 2020) и «Книжка № 2» (Новосибирск, 2023). Лауреат молодёжной премии журнала «Наш современник» (2015). Живёт в Новосибирске. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

На высокой трубе, на кремлёвской стене,
на огромной засыпанной снегом стране.
Но кто умер зимой, тот воскрес по весне
и поехал на Е и на Ё.

А у нас за стеклом тарахтит лесостепь,
а за нашим вагоном несётся медведь,
и, вливая бессмертье в года,
поворачивает Ингода.

Забайкальское солнце не любит шутить,
заползает в окно и прядёт свою нить,
и в дурмане железной дороги
к нам приходят даурские боги.

Говорят: не печальтесь о зле и добре —
ничего не осталось на этой земле,
только ехать и ехать в космической мгле
и глядеть, кто скорее умрёт.

Мимо родины птичьей, бурятских степей,
мимо вечной тайги, пересохших морей —
по безбрежной Тартарии дикой,
угощаясь бессмертной брусникой.

Ничего не осталось — наплюй и налей! —
голоса у даурских богов веселей...
Ах, зачем мы с тобой христиане
и не слушаем ламу в дацане.

Мы с тобой христиане, такая беда,
мы уже не поедим с тобой в никуда,
наши рельсы омыла святая вода,
с них никто никогда не сойдёт.

Но всё время змеится в груди маята,
что куда ни езжай, вся дорога не та —
хоть на Ю, хоть на Я, хоть на тра-та-та-та...
Вот и нынче куда нас несёт?

Мимо тьмы горизонтов, дождей, проводов,
мимо ставших камнями даурских богов,
под гремящую музыку ночи
мы впечатались в город Могоча.

Здесь и песне конец, отключи интернет,
обними всей тоской Амазарский хребет.
Нам ещё возвращаться на У,
целовать эту курву — Москву.

* * *

Господи, Ты спросишь — я отвечу:
всё у всех как было, не в укор —
как разъединил однажды речью,
так столпотворенье до сих пор.

Ну а нас всегда война любила —
обнимала огненным дождём,
вот и нынче брата Михаила
третий год в степи донецкой ждём.

БПЛА уже как дни недели —
встроены в привычный звукоряд.
Пишут — до Казани долетели,
скоро до Сибири долетят...

А пока — фастфуды, гастрокорты,
ёлки, бани, бары, смех, коньки...
В Новый год поедем на курорты,
включим голубые огоньки...

Отдохни, страна моя родная,
рюмку за победу накати —
у России нет конца и края,
вот и в русском сердце — не найти.

Всё широким стало до безбрежья,
разделённый мир стоит толпой —
русское повсюду зарубежье,
зарубежный грохот под Москвой.

Обезвредит медным купоросом
время все терзания души.
Господи, не задавай вопросов,
лучше про бессмертье расскажи.

* * *

Пойду, пойду вниз по Кропоткина —
ни цели, ни забот.
Навстречу конь Петрова-Водкина
с Гагаринской пойдёт,

раскачивая гривой огненной
увядшую листву —
уставший, горестный и сгорбленный —
к Ельцовскому мосту.

А я ему при встрече ласково
чего-нибудь скажу
да карими своими глазками
с улыбкой погляжу.

Но он как звякнет зло подковами,
как буркнет алым ртом:
«Я конь известный — нарисованный!
А ты, девица, кто?»

И сразу станет взгляд коровкиным,
и я скажу, стыдясь:
«Я тут на улице Кропоткина
однажды родилась,

прошла дорогою недуговой
немало сонных лет,
есть у меня канал ютубовый,
есть быстрый интернет.

По многим я скакала знаниям,
усевшись на курсор,
но, кто я в этой жизни раненой,
не знаю до сих пор».

Посмотрит он глазами грустными —
таясь, сморгнёт слезу.
«Что делать с вами, новорусскими!
Садись уж, отвезу».

Шагами тихими, короткими,
похожий на огонь,
пойдёт по улице Кропоткина
огромный красный конь —

в поля, в луга, в леса далёкие,
в густые облака,
в минуты радостные, лёгкие,
в кровавые века.

Страшнее мысли сумасшедшего
помчится он, хрипя,
и где-то в глубине прошедшего
узнаю я себя.

Денис Колчин

Чёрный сад

*Повесть**

1. Медведь

Лесная тропинка понемногу забирала вверх. Ели, берёзы и сосны поднимались на холм, разрушенный искусственным оврагом. До революции там добывали руду, а при советской власти забросили, и бывшие копи превратились в свалку и пристанище бездомных. За оврагом ландшафтных перепадов уже не наблюдалось — тянулась густая среднеуральская смешанная тайга, полная дикой земляники и комарья. Обернувшись, я увидел наш залитый летним солнцем огород, лежавший у лесного подножья. Киоск, вагончик, теплицы, грядки — всё было покрыто ярко-жёлтым и светло-зелёным.

Следовало идти дальше. Куда? Зачем? Тропинка уводила в чашу, но лес не выглядел сумрачным. Берёзы разбавляли хвойный массив. Кроме того, я помнил, что по ту сторону находится высохшее болото, превратившееся в поле, усыпанное кочками. Где-то за полем стучала невидимая железная дорога, уходящая на север, в сторону Нижнего Тагила. Около посёлка Шарташ её пересекала автомобильная трасса, тянувшаяся до «девятки» — детской клинической горбольницы № 9, притулившейся на краю частного сектора.

Между тем, лес начал редеть — близилось то самое поле. Внезапно краем глаза я уловил справа движение бурого пятна. Пятно остановилось, а затем двинулось ко мне, сминая кусты. «Что за херня?» — пронеслось в голове. Пришурившись, я стал близоруко всматриваться, а затем похолодел. Это был медведь. Обычный взрослый медведь. Рассерженно бурча, он не сводил с меня

Колчин Денис Сергеевич — поэт, журналист. Родился в 1984 году в Свердловске. Окончил журфак УрГУ. Работал военным корреспондентом в Крыму, Дагестане, Карабахе и на Донбассе. Автор книг стихов: «Подготовительный курс» (Екатеринбург, 2017), «Фронтир» (Екатеринбург, 2021) и нескольких книг прозы в жанре нон-фикшн. Печатался в журналах «Урал», «Звезда», «Знамя» и др. Живёт в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 5.

* Журнальный вариант

маленьких злых глаз и постепенно увеличивал скорость. «Глядь», — промолвил я и припустил обратно.

Честное слово, никогда больше я столь быстро не бегал. Даже в Карабахе во время обстрелов. Ветки хлестали по лицу. Картинка прыгала в разные стороны. Спина взмокла, дыхание перехватило. А позади, тяжело рыча, неслись три сотни килограммов животного веса с когтями и клыками. Лицо моё перекосило от ужаса. С какой-то необычайной лёгкостью я перемахнул через пару поваленных деревьев и упомянутый выше овраг. Медведь не отставал. Мало того, он догонял. Всхлипнув, я попытался оторваться, но запнулся и покатился кубарем к забору.

Всё изложенное приснилось мне единожды и уже не повторилось. Но я до сих пор помню дикий медвежий рёв, сокрушающий мелкую лесную поросль топот зверя, накатившую волну страха и чувство отчаяния, заставлявшее нестись напролом к участку, который почему-то казался спасительным, хотя никого, кроме четырёх пенсионеров с тяпками, лейками и граблями, там не было. Но имелось понимание, что верно только одно — бегство. Безудержное. Почти олимпийское.

И я бежал.

2. РИА

Весной 2016-го я устроился в федеральное РИА «Вести». Мы с женой Мариной купили двухкомнатную квартиру на окраине города, перебравшись туда из проданной, доставшейся мне в наследство уралмашевской однушки. Платёж следовало закрывать, а суммы, которую выдавали на прежней работе — в маленьком екатеринбургском информационном агентстве, — не хватало. У РИА в городе находилась штатная корреспондентка, но ей требовалась помощь, потому они начали искать внештатника. И тут нарисовался автор этих строк. А почему бы и нет, если платили в два раза больше, чем на предыдущем месте?

В нашей зоне ответственности были две области — Свердловская и Тюменская. В приоритете — новости о происшествиях, криминале, судах, громких отставках, политических скандалах. Занимались в основном рерайтом пресс-релизов и прозвонами подробностей. Офиса не было, трудились на дому. Частенько случалось так, что двухлетняя Варвара сидела у меня на коленях, играя разложенными на столе возле ноутбука мягкими зверушками, одной рукой я держал телефон, выясняя детали очередного ДТП или пожара, а другой набивал текст заметки.

Периодически ездил в командировки по региону. За громким словом «командировка» зачастую скрывался обыкновенный пресс-тур. Пресс-туры запускала администрация губернатора, когда в область прилетал кто-то из крупных правительственных чиновников. Их везли инспектировать стройку, или завод, или открывшуюся школу, а мы — корреспонденты здешних изданий и филиалов федеральных СМИ — семенили за ними, стараясь поймать каждое

слово. Иногда случалось, что Президент на пресс-конференции или «прямой линии» обращал внимание на какую-то региональную проблему, и областные власти мчались галопом устранять недоразумение. Конечно, в сопровождении журналистов.

За пару лет я так и не встретил ни одного коллегу по РИА, не считая фотографа Паши Л., с которым мы несколько раз колесили по заданиям. Главный штаб располагался в Москве, а регионалы торчали по своим домашним адресам, пересекаясь лишь в общем чате. Там же контактировали с начальством. Первым руководителем внутрисерийского отдела агентства был неконфликтный дядечка предпенсионного возраста. Он всё понимал и уже давно ничем не горел. Его сменила женщина, быстро куда-то исчезнувшая. Но вот её преемницу мы хорошенько запомнили. Она была истеричкой и задержалась надолго. Впрочем, испытать на мне своё красноречие ей не удавалось, ведь я числился внештатником. А это означало, что не только меня могли уволить в любой момент, но и я имел право послать агентство куда подальше так же в любое время.

Несмотря на home-office, здоровье моё пошатнулось. Сидячая деятельность, бесконечный мониторинг, необходимость отпрашиваться даже для похода в магазин — не дай бог в тот момент произойдёт нечто важное! — доконали. Начали болеть кости ног и таза. Боль сопровождала каждое движение. Я грешил на то, что перед этим упал дома, сильно ударившись, но медицинские обследования не выявили повреждений. Мы с женой терялись в догадках. Наконец, она предложила:

— А давай ты просто найдёшь другую работу? Офисную.

3. «Инсайды»

Идея мне понравилась. Но куда идти? Возвращаться туда, где работал раньше, в нищее информагентство? Ни к чему. Податься в другое городское или областное СМИ? К тому моменту — а дело было весной 2018-го, — я успел набраться опыта в нескольких подобных редакциях и желания возвращаться к региональному формату не имелось. Ехать в Москву? А смысл? Из федеральных изданий привлекала только либеральная «Новая газета», но некрасивые истории, связанные с попытками опубликоваться там, останавливали. Так что же? И тут Марину осенило:

— «Инсайды»!

«Инсайды» было крупным окружным агентством с федеральными амбициями. В его состав входили семь филиалов на Урале и в Сибири, московское представительство и ряд других подразделений. Головная квартира — в Екатеринбурге. Размещалась она в центре города, в четырёхэтажном, переделанном до неузнаваемости особняке XIX века. Сама по себе редакция являлась источником постоянных скандалов. За шесть лет до описываемых событий ею руководила известная свердловская журналистка Аксинья Панкова, поддерживавшая местного поэта и борца с наркотиками Евгения Розанова. Поговаривали, что Розанов не нашёл общего языка с областной полицией,

а его оппоненты — нашли. В итоге Евгений оказался — лишь на время! — на обочине общественной жизни, а владельцы «Инсайдов» вынудили Аксицию уйти, отдав директорское кресло её заместителю Максиму Югину.

Платили в «Инсайдах» очень хорошо. Выше рынка. Но как туда попасть? Помогли бывшие коллеги жены, числившиеся в службе информации агентства. Мне назначили собеседование. Явившись, как договаривались, я очутился перед стеклянной дверью. За ней сновали незнакомые люди. На стене справа красовалась огромная синяя надпись — «Инсайды». Далее тянулся коридор, покрытый с обеих сторон россыпью букв. Иногда они складывались в отдельные слова или словосочетания.

Курировала службу информации Нэлли Меховая — полненькая, рыженькая, веснушчатая молодая женщина среднего роста. Мы с ней кратко пообщались: я рассказал, где учился и работал, а она продемонстрировала список заметок и предложила выбрать, на мой взгляд, самые важные. Моим выбором Нэлли осталась довольна.

Теперь мне предстояло закрепиться. Тут надо отметить, что служба информации состояла из шести бригад: четырёх дневных и пары ночных. Работали они по графику «два через два». Каждая дневная состояла из редактора, выпускающего и двух-трёх корреспондентов. Позже была введена должность мониторщика. Каждая ночная включала одного или двух дежурных. Я выходил в утреннюю или вечернюю смену простым журналистом. Вернее — райтером. Райтер получал от редактора информационные поводы и писал новости. На новость следовало тратить минут десять. За восьмичасовую смену получалось двадцать — двадцать пять новостей. Авторы чувствовали себя участниками тараканьих забегов, а директор на планёрках не забывал попрекнуть их «санаторным режимом».

При первой встрече Югин показался милым. Высокий, коротко стриженный мужчина под сорок, слегка картавящий. Мы беседовали в большой переговорной. Он спросил, зачем я устроился сюда. Ради трёх вещей: графика, зарплаты и, надеюсь, возможностей. Тогда он спросил, что я писал раньше. Большие тексты и репортажи из горячих точек — Крыма 2014-го и Дагестана в том числе — для «Русского репортёра». Не считая новостей в разных СМИ. Югин понимающе кивнул. Этого понимания хватит до конца 2020-го.

4. Книги

Сейчас я прихожу к выводу, что всю мою жизнь определили несколько цветных картинок, увиденных в детстве. Они впечатались в сознание, в мозг, инфицировали данными. Те данные, будучи визуализированными, вели меня подобно волшебному навигатору. И я доверял им. Доверяю до сих пор. Даже текст, который вы теперь читаете, является воплощением, интерпретацией опыта, полученного благодаря им.

Речь о картинках в книгах детских писателей Олега Тихомирова и Сергея Голицына, чьи работы выпускало издательство «Малыш».

Обычно авторы брали героические сюжеты из средневековой русской истории. Будучи младшеклассником, я просил в школьной библиотеке голицынские и тихомировские томики и наслаждался. Они были красочными, яркими. На их страницах славянские витязи в светлых кольчугах рубились в окружении степняков, облачённых в тёмные кожаные доспехи, или сталкивались с ливонцами в белых одеяниях с чёрными крестами.

Иллюстрировал их книги художник Владимир Перцов, приходившийся Голицыну племянником. Родился он в 1933-м в Дмитрове. Учился в Московском полиграфическом институте. Рисовал для «Малыша», «Детской литературы», «Мурзилки», «Вокруг света», «Огонька». Получал различные награды и при советской, и при новой российской власти. Мало того, некоторые перцовские «холсты» хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее. А перед работой над книгой Тихомирова о Куликовской битве Владимир Валерьевич ездил на место событий. Наверное, хотел представить. По крайней мере, попытаться. Если такое возможно... Умер в январе 2017-го, в возрасте восьмидесяти трёх лет.

По сути, каждая из этих книг проросла в моей душе ветвями разнообразных интересов. Первой была голицынская «До самого синего Дона» — повествование о походе древнерусских князей в половецкую степь в 1111 году. Там присутствовали румяный переяславский владетель Владимир Мономах и мрачный киевский Святополк Изяславович, древесно-соломенных оттенков половецкая орда и несущиеся ей навстречу окольчуженные дружинники. Уже потом, в юном возрасте, я прочёл Антонина Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха», а затем ошеломивший меня труд Андрея Сахарова «Владимир Мономах». Оказалось, об истории можно писать легко, захватывающе. Так, что больше не отпустит. И меня не отпустило.

Потом была книжка Голицына «Сказание о Евпатии Коловрате». В её основе лежит старинная «Повесть о разорении Рязани Батыем». Один из героев — рязанский боярин Евпатий Коловрат, находившийся в отъезде, вернувшийся домой аккурат после сожжения города монголами. По сюжету он присоединяет к своей дружине выживших рязанцев и начинает партизанскую войну. Заканчивается всё, как и положено, трагически. Отряд загоняют на замёрзшее болото и уничтожают с помощью камней. История легендарная. Вероятно, нечто подобное могло быть в реальности, но народная память снабдила случившееся «спецэффектами». Владимир Перцов создал атмосферные зимние батальные иллюстрации. Кстати, применение камней против заблокированного отряда выглядит эпично, хотя в жизни, скорее всего, монголы обошлись лучниками, — просто засыпав Евпатия и его людей стрелами. Но ещё до Голицына тему осадных машин в судьбе войска Коловрата продвигал в романе «Батый» писатель Василий Ян.

Не менее поразительные, снежные и ледяные, рисунки Перцов сделал и для книги Тихомирова «Александр Невский. Слово о походах». Меньшая часть её посвящена битве со шведами на Неве в 1240-м, большая — битве на Чудском озере 1242-го, где новгородцы, псковичи, владимирцы и суздальцы разгромили немецкую рать, состоявшую из баталии ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена, хоругви Дерптского епископства и эстонского ополчения.

Именно уничтожение орденового авангарда изображают иллюстрации Перцова, ставшие своеобразной добавкой к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который я посмотрел в детстве. Потом был роман уже упоминавшегося Василия Яна «Юность полководца» и другие тексты, о чём подробно писал в рассказе «Во всём виноват Эйзенштейн». Так темы русско-половецких войн и монгольского нашествия дополнила тема сражений в средневековой Прибалтике.

Наконец, четвёртая «коллекция» картинок Перцова была обнаружена мною в тихомировской книжке «На поле Куликовом». Главная из них — на весь разворот — фиксировала эпицентр сражения: эпизод прорыва мамоевой орды к центру русского большого полка и момент гибели боярина Михаила Бренка, согласно преданию переодетого в доспехи великого князя московского Дмитрия Ивановича. Романы «Дмитрий Донской» Сергея Бородин и «Зори над Русью» Михаила Рапова дополнили впечатления. Впрочем, если ориентироваться на мнения профессиональных историков и археологов, всё изложенное в них — сплошная фантастика. Так, Андрей Булычёв полагает, что на поле с обеих сторон сшиблись примерно по полутора тысяч всадников, а общее количество погибших достигало 500—600 человек.

Как бы то ни было, все перечисленные труды спровоцировали зарождение разнопланового интереса к отечественной военной истории. И этот интерес уже никогда меня не покидал — во время учёбы на журфаке, во время работы в СМИ. Поездки на войну в качестве военкора стали попытками прикоснуться к большой истории, происходящей не здесь, в точке моего расположения, но именно сейчас. Крым, Дагестан, Карабах, Донбасс... А затем возникло желание зафиксировать пережитое, но не только в виде репортажей и стихов.

5. Служба инфо

Первая смена службы инфо начинала в 7:00. Сонная бригада отправляла уставшего ночного дежурного домой и приступала отписывать прежде всего пропущенные им новости. К 9:00 подгребало начальство — куратор службы Меховая и шеф-редактор Иван Красивый, вечно прилизанный, с аккуратной бородкой, облачённый во всё модное, сотрудники других отделов. К тому моменту ситуация на ленте несколько успокаивалась, ближе к 12:00, когда просыпались федеральные редакции, срывалась в карьер и к 15:00 ребята из утренней бригады сидели в мыле.

Тут являлась вторая смена, что называется — с корабля на бал. Она сразу включалась в работу и пахала с бешеной скоростью, примерно до 19:00. Дальше начальство отваливало, и все расслаблялись, дотягивая до конца дня спустя рукава, с ленцой. Привычный распорядок нарушали только крупные ЧП или внезапные резкие высказывания Президента. В таких случаях дежурные подсакивали как ужаленные и с удвоенной скоростью строчили новости, а отдел эксклюзивов прерывал свой неспешный график и принимался названивать профильным экспертам.

Константин Былинин

ОКОПНЫЕ СТИХИ

* * *

Что жизнь моя для Родины и сына —
для сыновей, чтоб жили без войны,
где мирно спит уральская равнина
и снег идёт по краешку весны.

А что у нас? — бескрайние руины...
Крик тишины на грани остря
осиротевшей, одинокой мины
и вспаханные пламенем поля.

* * *

Душа полегчала на грамм или два
в конце, где поставлена точка,
где строфы стоят, выдыхая слова
о том, что в декабрьские ночи
до утренних звёзд не горит синева,
но жив ополченец и срочник.
И вновь засучив рукава над землёй,
в ответе за синий платочек
российский солдат, а рассвет кольцевой
идёт вдоль военных обочин,
где звёзды уходят на вечный покой,
когда снегопад обесточен...
А мне всё казалось, душа не права,
что в сердце на грамм полегчала,
настолько тяжёлыми были слова.
как будто дышать перестала.

Былинин Константин Сергеевич — родился в 1984 году в г. Челябинске. Публикации в журналах «Нева», «Северо-Муйские огни» (Бурятия) и др. Лауреат литературных конкурсов. Живёт в г. Челябинске. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Всё, что я привёз с войны —
Свой окопный кашель,
Запах выжженной земли
С порохом и сажей,
Тень поломанных лесов
До корней и щепок,
Шелест мёртвых голосов
С обгоревших веток...

В лесах Кременной

Не говори, что выжжена земля
В сердцах полей и под ногами сосен, —
Она вспорхнёт под окрик журавля
Младой травой послевоенных вёсен,
Где белых звёзд ночная колея
Горит в траншее на сухом морозе...

* * *

Мне повезло, не ранен, не убит.
Но, иногда привидится иное:
я в Кременной, и лес ещё горит,
и поджигает небо голубое,
и там снаряд украинский летит
всё это время будто бы за мною...

Илай Илимар

Колдун

Повесть

Глава 1

Тело заныло, как накануне сильной грозы. Он за несколько дней точно знал, что приближается непогода, её вид и силу. Даже если метеорологи ничего подобного не предвещали, он-то знал, что будет и когда. Безошибочно. Но так было не всегда. Пришло это несколько лет назад вместе с даром, который виделся ему всё чаще проклятием. Иногда ловил себя на мысли, зря он тогда деду дал обещание. Помер бы старый, да и всё. Жалко стало, что мучается так сильно, вот и... принял на себя.

Однако сейчас тело отреагировало несколько по-другому, не как при ощущении урагана или снежной бури, но... с чувством страха, липкого животного страха. Он давно ничего не боялся, а тут комом накатило. Сунул руку в карман своего старенького, но крепкого полушубка и, сжав дедов амулет из медвежьего когтя, попытался его достать. Ладонь внезапно скрутило и затрясло. Он дёрнул её, зацепив пальцами толстую суровую, некогда белого цвета нить амулета, рванул наружу. Нить лопнула, и амулет прыгнул ему под ноги, воткнувшись в корку подтаявшего снега. «Во дела!», — пробормотал он и, уняв руку, резко наклонился за амулетом. В этот момент спину и затылок обдало мощной струёй горячего воздуха, сбив лохматую собачью шапку в сторону, а его самого на снежный наст. Только после этого он услышал раскатистый звук выстрела и почувствовал обжигающую боль в затылке. Он перевернулся на спину и посмотрел в небо. Там синева стремительно темнела. Лучи заходящего солнца пронзали ели и сосны, причудливо превращаясь в скачущие пятна. Он провёл ладонью по голове и поднёс к лицу. На губы скатилось несколько капель яркой солёной крови. Издалека послышался возбуждённый возглас: «Сдохни, тварь!»

Илай Илимар (Ильмаилов Алексей Юрьевич), юрист. Родился в 1979 году в городе Улан-Удэ (Бурятия), в семье геологов. Окончил юридический факультет Московского государственного социального университета (2000). Автор сборника прозы «Ощущение весны» (2023). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Сдохни, чёрт!» Он узнал. Санька Лялин из деревни. Значит, помер-таки его батёк. Закрыв глаза, подумал, что так и должно было случиться. Духи предупреждали, что зло ему придёт от людей. Да и вообще зло в большинстве случаев приходит от людей. Неважно, с какими намерениями и по какой причине. Человек сам по себе источник зла, изначально.

Судя по всему, «убийца» почти сразу скрылся. Но на всякий случай он переждал некоторое время, укрывшись в ельнике. Рана оказалась поверхностной. Немного ободрало картечью кожу и оглушило. Кровь быстро запекалась. Вот шапка пострадала изрядно, теперь это была скорее рваная шкура, чем головной убор. «Ничё-ничё, новую сварганю... Заячью потом сделаю, вон их в этом году навалом. Под ноги кидаются. Хотя жалко эту. Из чёрного кобеля. Мощная. Вот и сейчас спасла». Галик закурил папиросину, что он делал редко, размышляя о произошедшем и немного успокаивая себя. Страха уже не было, лишь адреналин бил по ладоням, вызывая лёгкую дрожь. Он знал, что ещё не время умирать. Духи его хранили и предупреждали. Он ощущал себя частью их мира. Но всё равно человеческое брало своё.

* * *

Домой он добрался затемно. Оглядевшись и обойдя по кругу издалека свою старенькую избу, он прошмыгнул внутрь и запер дверь на деревянный засов, ещё и подперев крупной дровиной снизу. «Толку мало, конечно. Если захотят довершить начатое, просто подпалят снаружи и сожгут. Но хотя бы спокойней самому. Надеюсь, Санька и его братаны думают, что уработали меня. Пусть так и думают. Они не первые в моей житухе. Да и весь посёлок уже косо смотрит. Надо уходить. Хотя бы на время». Не зажигая лампы, он вскипятил на газовой горелке кружку кипятка, засыпав туда полпачки чёрного чая. Надо было привести мысли в порядок.

Привычка чифирить осталась после долгих лет по исправительным учреждениям. С малолетки ещё. В шестнадцать, по оговору соседскому как попал за кражу на зону, так и мотало с небольшими перерывами по лагерям. Пять лет только как освободился. Сейчас ему сорок девять. Более двадцати пяти лет по зонам. Уважаемый в уголовном мире арестант, правильный бродяга. Казалось, вся жизнь пройдёт как-то так, но встреча с дедом после долгого перерыва, да на его смертном одре, всё поменяла. Деда он сильно любил с самого детства. Да и тот его тоже, и переживал, когда его закружила уголовная житуха. Отца-то не было, мать гулящая, вот дед его и воспитывал, да не уберёт, как сам считал, от лихой жизни. Дед Викторин — из староверов был. Из большого беспоповского села с Поморья в своё время пришёл сюда, женился на местной, трёх детей родил, в том числе его мать. Работал в леспромхозе, да однажды завалило его брёвнами, еле выжил, после этого вдруг обрёл «зрение», как сам говорил. Стал знахарствовать, шаманить да с духами общаться. В итоге ушёл в лес, оставив жену да детей мал-мала. Двое потом в город уехали, как подросли, и вроде нормально всё у них устроилось, а младшая в посёлке так и осталась, нагуляла его от какого-то шабашника, а потом и сама спилась, пропала где-то. Бабка тоже рано померла. Дед его, как мог, один воспитывал, пока

кто-то из жителей посёлка, сильно обиженный на них за что-то, не начал строчить во все органы о безнадзорности и якобы криминальных наклонностях семейки. Долго никто не обращал внимания, пока однажды Галик с товарищем не сняли сети того с парой рыбин. Так тот наката «заяву», что, мол, обнесли чуть ли не под чистую его. Не только, мол, сети сняли (разрешение на них у него было), но и лодку украли и затопили, и мотоцикл угнали (который он сам втихую продал куда-то дальним родственникам), и вообще он много раз сигнализировал о беспределе этой семейки. Заяву эту вручил заезшему начальнику из обкома. Разбираться никто не стал, приехала милиция на жёлтом «бобике» и забрала Галика. А дальше... само собой и покатило-поехало. Единственное, что сказал ему напоследок дед, сжав в руках амулет, когда уводили: «Ничего не бойся. Мир испытывает тебя. Ты придёшь к своему предназначению. Плохие люди ответят за своё злодейство, недолго им ходить по земле осталось. Око за око, зуб за зуб...» Он запомнил дикую боль в глазах деда навсегда. Может, это воспоминание и держало его на свете. Сколько раз он мог сгинуть, со счёта сбился.

И теперь Галик снова стоял перед выбором, чифиря в дедовской старенькой избе. Мир продолжал его испытывать. А сосед и правда в тот же год сгинул, провалившись зимой под лёд, когда жерлицы снимал. Тело так и не нашли, утащила река куда-то в озеро. Да и работник обкома, с подачи которого Галика приняли, неожиданно через год повесился, допившись до белой горячки.

* * *

С большого новёхонького плаката на рекламном щите, казалось, что прямо в глаза, пронзительно глядел крепкий мужик средних лет в красивой военной экипировке, с автоматом навскидку, призывая добровольцев на защиту Родины. Напротив, со стены пятиэтажки с огромной, нарисованной прямо на стене картины, куда-то вдаль печально смотрел молодой парень в парадной форме, с серебряным округлым крестом на груди. «Покойник...» — сразу пришло ему. Надпись на картине гласила что-то вроде «помним героев страны» и имя героя с датами жизни. «Молодой совсем... недавно погиб», — подумал Галик и перевёл взгляд на плакат. Там было указано несколько контактных телефонов. Он немного помялся, сомневаясь, затем пробормотал: «Будь что будет... да и духи говорят про огонь и кровь... туда надо бы», — набрал один из номеров.

Уже через пару часов, сидя в большом кабинете в военкомате, он оформлял договор. Его многолетнее уголовное прошлое не вызвало никаких вопросов. Лишь проверили, что не в розыске и не состоит на учёте у психиатров и наркологов. В тот же день он получил койку в общежитии в областном центре, куда его и ещё с десятков районных добровольцев отвезли на служебном пазике. Всё казалось чётко налаженным: с кормёжкой, обмундированием и прочими служебно-бытовыми вещами. Военно-врачебную комиссию они прошли в течение трёх дней, и уже через неделю все местные добровольцы были сформированы в единую роту и направлены на полигон в одну из южных областей страны. Всё это время он держался особняком, общаясь с другими только по делу и в рамках совместной деятельности. Таких было почти полроты.

Он чётко определил, что половина отряда — бывшие сидельцы. Впрочем, этим никто не кичился, не выпячивал своё прошлое. Все всё понимали. Держались ровно. Другая половина отряда представляла собой разномастный и разновозрастной народ. И молодые, и пожилые мужики. Уже на полигоне их распределили по группам, в зависимости от умений и навыков. Галик попросился в медицинскую эвакуационную группу. Это отвечало его внутренней энергии. В течение двух месяцев они усиленно занимались и тренировались. Бежали по раскисшим весенним полям, стреляли, окапывались и изучали разные премудрости, основываясь на опыте этой войны. Инструкторы были отличные и требовательные. Относились серьёзно, так как ожидали решительного наступления врага после сезона распутицы.

Странно, но он обратил внимание, что с того времени, как подписал контракт, его дар словно заснул. Духи молчали. Видений, знаков и предчувствий не было довольно давно. Лишь ладони его словно жгло изнутри, когда оттачивали санитарные и медицинские навыки. Но однажды, когда он накладывал импровизированную шину на руку подопытного пожилого сослуживца, случайно коснулся его головы. Руку словно пронзило током, и в сознании пробежала чёткая картинка: он увидел, как сердце этого солдата покрывается паутиной трещин и пятнами. «Ты это... сердце надо бы проверить. Чувствую нехорошее...» — бросил он ему. Тот лишь недоуменно поглядел, отмахнулся с юмором. Утром он не проснулся. Обширный инфаркт.

Так Галик понял, что дар вернулся. И чем ближе подходило время отправки за ленту, тем чувствительней он становился. Довольно быстро слухи о его предвидениях разлетелись среди бойцов. Люди стали заглядывать к нему, вначале с опаской и недоверием, но каждый вечер в свободное время к нему в распоряжение стали заходить бойцы. Кто-то с просьбой по здоровью, кто-то из любопытства. Стали его называть колдуном. Как пошутил комроты: «Вот и позывной тебе уже есть...» Он же оставался нелюдимым, но приходившим в просьбах не отказывал. И старался не расстраивать, если видел плохое. Просто говорил, что ничего не видит. Его отстранённость лишь добавляла краски к ореолу загадочности и мистицизма. Лечил то, что мог, либо направлял к врачам на проверку. Командование закрывало на это глаза. Бойцом и санитаром он становился грамотным и исполнительным. Претензий не было.

Ближе к лету их перебросили поближе к ЛБС. Ожидалось наступление врага, напряжение витало в воздухе. Хотя внешне все выглядели спокойными и уверенными. Неразберихи и дурости, особенно среди командования и служб тыла, по-прежнему хватало. По прибытии их разместили всех вместе, несколько сот человек, в корпусах общежития бывшего профучилища. Когда размещались, ротный высказал принимающему «подполу», что, мол, это опрометчиво и опасно, что в случае ракетной атаки их накроет всех. Тот лишь рыкнул что-то вроде «не умничай, мы лучше знаем». Галик же несколько дней чувствовал нарастающую тревогу. Он был уверен, что случится беда. В первую же ночь, после отбоя, когда он вырубился от усталости, во сне пришёл дед и приказал просыпаться, показав картинку, как горят здания и мечутся в отблесках пожара обгоревшие полураздетые люди. Он открыл глаза, в помещении

стояли храп и сопение. Люди, уставшие после вечерней тренировки, крепко спали. Большие круглые часы на стене показывали почти полночь. Он вскочил и пошёл между рядами кроватей, громко будя товарищей: «Вставай, вставай, тревога! Тревога! Тревога! Все на улицу, за периметр! И рассредоточиться!» Бойцы, не разбирая что к чему, вскакивали и выбегали наружу. Сказались месяцы тренировок. Раз командуют, — надо выполнять. Так он пробежался по всем трём этажам общаги. Когда уже сам выскакивал наружу с криком «за периметр!», запыхавшийся ротный, прибежавший из другого здания на поднявшийся шум, схватил его за грудки: «Какого чёрта?! Чего творишь, Колдун?! Крышняк рвануло? Или нажрался-таки, сука?! Когда успел?!» В это момент их опрокинуло взрывной волной. Соседнее здание, откуда и прибежал ротный, сложилось, вспыхнуло ярким оранжевым пламенем. Вскочив, Галик рванул под шлагбаум за забор территории их пункта дислокации, ротный за ним. Отбежав на несколько десятков метров, они упали между деревьями близлежащего парка. Вокруг на земле рассредоточились бойцы из их общаги. Кто-то уткнулся в землю, зажав голову руками, кто-то напряжённо наблюдал за пожаром. Тут влетело и в их здание, развалив его на части и осыпав кирпичами окрестности. Чёрный дым повалил из развалин. Затем — ещё серия мощных прилётов по территории их части. Вдали завывли сирены. Когда разрывы стихли, ротный скомандовал: «Мужики! Надо вытаскивать! Может, кто ещё жив. Вперёд, кто не ссыт!» Поднялись почти все. Ротный бросил ему: «А ведь ты нас спас, Колдун... И я там должен был быть, в первой общаге. Откуда узнал?» Галик пожал плечами: «Увидел. Духи сказали, дед приходил». Тот, сжав губы пробормотал: «Точно, колдун... не иначе...» Через минуту они, задыхаясь и отхаркиваясь, лазили в дыму по развалинам, вытаскивая закопчённые изуродованные трупы.

В тот же день Галика забрали в контрразведку. И трое суток держали в подвале. Каждый день шли непрекращающиеся монотонные допросы на одну и ту же тему: откуда узнал, на кого работаешь, когда тебя завербовали, почему поднял своих и т.п. Он равнодушно повторял одно и то же — что увидел во сне, почувствовал. Эти допросы его не напрягали, за многолетние отсидки он и не такое видел. Иной раз в ШИЗО по несколько месяцев проводил. Так что вся эта методика особистов для него была лёгкой прогулкой. Да и скрывать нечего было — говорил как есть. Зато отдохнул и, как ни странно, выспался за эти дни. В подвале он был один, никто не донимал между допросами. Наконец, ему дали подписать бумагу о неразглашении и отпустили. Пожилой капитан напоследок сказал, что прилетели «хаймарсы», погибло много бойцов и раненых несколько десятков. Кто-то навёл, скорее всего, ждуны. И начальник местного полигона идиот редкостный. Вроде как сняли его. А он, Галик, молодец, спас несколько десятков человек, правда, непонятно как, каким образом понял, что будет прилёт, — потому его и взяли. «В общем, мистика. Про тебя говорили, что не от мира сего, колдун вроде. Но армия и мистика несовместимые понятия, поэтому извиняй. Я-то тебе верю... вижу, что... чудной ты. И зэка опытнейший, судя по личному делу. Хотя сейчас... это скорее в плюс. Не знаю, кто ты по религии своей, шаман там, или колдун, или вообще чернокнижник, но... тут ты молодец.

Удачи!» — И на удивление мягко пожал руку. Галик в этот момент увидел, как капитан бледный-бледный лежит в госпитале и тихо стонет, а вместо ног у него пустая окровавленная простынка, настенный календарь показывал первую половину июля. «Первую половину июля проведи в отпуске или просто подальше от ЛБС. Вижу плохое для тебя. Без ног останешься, если не послушаешь...» Капитан вздрогнул и, отдернув руку, испуганно пробормотал: «Э-э... погляжу. Ладно, бывай...»

Глава 2

Подразделение их за это время перебросили непосредственно на линию соприкосновения. Так что добираться пришлось с оказией. Хорошо, что ребята по телефону скинули контакты волонтеров, что в этот день собирались к ним. Они были в городке и подхватили его по пути. Две выдавшие жизнь «Нивы», набитые доверху различным добром для бойцов. За рулём сидел угрюмый пожилой мужик с растрёпанной бородой. Между сиденьями торчал многозарядный охотничий карабин «Сайга», похожий на «калаш». Вёл мужик агрессивно и уверенно. Рядом впереди разместился добродушный молодой толстяк — какой-то блогер, активно участвующий в сборах для бойцов. Он болтал, пытаясь разговорить Галика. Тот нехотя отвечал, но толстяк не давал покоя.

— Ну, что, как тут на фронте? Я-то первый раз, а вон Геннадич, наш водила, уже десятый раз едет, потому такой и угрюмый. Правда, Геннадич?

Тот искоса поглядел на него и нехотя что-то буркнул в ответ.

— Да ладно, он так-то классный мужик, наш Геннадич. Просто вояка потомственный, третья война у него. Подполковник спецназа, если что. Правда, эта — уже в качестве волонтера, добровольцем не взяли, старые ранения и возраст за шестьдесят.

Геннадич раздражённо бросил:

— Да хватит тебе, Санёк, обо мне болтать. Хорош уже. Мужику, думаю, не до этого.

Санёк задорно рассмеялся, обернулся к Галику:

— Во, видишь, какой неразговорчивый. А мне с ним аж от Москвы пилить пришлось. Всё-таки как тут? С госпиталя по ранению едешь? Как зовут-то, кстати?

— Галик. Имя такое. Еду с комендатуры, — коротко ответил он.

— М-м-д. Интересное имя. С Поволжья?

— Нет. С Вологодчины. Дед — старовер. Имя оттуда.

— Понятно. Здесь как оказался, служил раньше? Мобилизованный или доброволец? — не унимался толстяк.

— Доброволец. Не служил. Не брали. По лагерям чалился.

Толстяк уважительно присвистнул:

— Ну, тогда тебе особый респект. С лагеря прямо забрали?

— С воли. Сам пошёл. Духи сказали.

— Ого! — продолжал донимать Санёк. — Что-то шаманизмом отдаёт.

Наталья Полякова

Простыми словами расскажешь о сложном...

* * *

Если сегодня особенно не везёт,
Тяжело на сердце и много грусти,
Приходи ближе к вечеру в огород
Искать мотыльков и детей в капусте.

Что-нибудь да найдём, отгибая лист.
Главное — делать всё надо вместе.
Бронзовка — клоун, кузнечик — эквилибрист.
Паучок-почтальон принесёт нам вести.

А потом — обратно — дорогою муравья,
Бегущего по листве, прочитавшего «Хагакурэ».
Дом закрывается. У каждого дома своя
Правда, устав свой, своя культура.

Плодовым — смерть, что хорошо жукам.
В этом году цветы отцвели впустую.
Если найдёшь девочку, оставь её нам —
Куколку, перламутровку полевою.

Полякова Наталья Владимировна — поэт, редактор. Родилась в г. Капустин Яр (Астраханская область). Окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Главный редактор электронного журнала «Литература». Стихи публиковались в журналах: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Урал» и др. Автор четырёх поэтических сборников, среди них — «Легче воздуха» (М., 2018). Живёт в Москве.

* * *

Лежать в траве, крутить калейдоскоп,
Сиюминутность взяв за постоянство.
И обнажённость душ, как оголённость стоп,
Как оголтелость веры в кафкианство.

Причастным быть к свободе в полключа.
И, удержав мгновенье от распада,
Смотри на свет, на ямку у плеча.
А счастье — ты. И большего не надо.

* * *

На стенке в кухне солнечный осколок,
И в нём расцвёл махровый гиацинт.
Свет состоит из световых иголок.
День падает, лови, лови! Разбит.
На *до* и *после*, на *пора* и *рано*.
Я в нём застыла срезанным цветком.
Пока вода лилась, вода из крана,
Пошли дожди на полюсе другом.
Где волны — высоки и крутобоки —
О камни бьются и ломают лёд.
И парус тот, который одинокий,
Со школы мне покоя не даёт.

* * *

Не разобрать себя, как сложный текст,
Не посчитать все стопы и длинноты.
Снимаются слова с привычных мест,
Как птицы и отыгранные ноты.

И не понять, где музыка жила,
В каких частях разобранной шкатулки.
Но выходила, плакала, звала...
И наполняла парк и переулки.

И поднималась выше лип и крыш,
Как голуби в кино сентиментальном.
Лови её! Ну что же ты стоишь
В халате сером в парке госпитальном?

* * *

Прячь страхи в метафоры, слёзы — в подушку.
Сними эту истину с карандаша,
Как плотник снимает древесную стружку
И вдруг понимает, что жизнь хороша.

Простыми словами расскажешь о сложном,
О жизни трагической карандашей.
И бабочка света летит осторожно
На спичке среди деревянных вещей.

* * *

Мы так хотели света и тепла.
И спичек обгоревшие тела
На белом подоконнике чернели.
Мы не считали их и не жалели.
А нас зима по-своему хранила.
Шёл хвойный лес на спички и стропила —
Строительный и счётный материал.
И газ горел.
И воздух выгорал.

Что наша жизнь? Разобрана на части:
С любимой кружкой, бьющейся на счастье,
Скрипучим полом, влажным полотенцем,
Смеющимся и плачущим младенцем...
Когда, намаявшись, друг друга пожалели
И съехались — без году две недели —
На верхнем этаже многоэтажки.
А выше —
только белые барашки.

Сухбат Афлатуни

ЦВЕТЫ

Рассказ

Ему тоже хотелось кофе.

Просить Вагифа он не решался, а тот не предлагал. Может, тоже не решался. Кто они, двое? Случайные знакомые по не слишком приятному делу.

Притормозил, сделал пару снимков. Ещё. И ещё. Разбитая двухэтажка. Что раньше в ней было? Неважно. Жизнь. Теперь пустота, как везде. В кадр должны войти выбитые стёкла, обломки шифера. Артур слегка присел... Отснято.

Вагиф стоял рядом, сжимая термос. Вагифа он снимал раньше, в начале подъёма.

Вагиф и он, Артур. Вот они идут.

Между ними возникло понимание, какое бывает между одинаково уставшими мужчинами. Не очень молодыми, курящими одни и те же горькие сигареты.

Обещанных трупов не было.

Успели убрать, зарыть — жаль. Придётся ему лезть в запасник; кто будет проверять, где и когда он это снимал?

На военных снимках мёртвые важнее живых. «Убедительнее», — говорит шеф.

Много воронов, больших, неторопливых. Он их тоже снял, на обломках железа; вышло фактурно.

Хотелось кофе, вообще чего-то живого; глотнуть и зажмуриться. Вспомнил тёплый коньяк, которым его поили после прилёта. Сейчас бы не отказался.

— Хочешь? Ещё два глотка есть, — Вагиф протянул термос.

«Добрый», — с лёгкой злостью подумал Артур.

Он уже давно обо всём думал так, с лёгкой усталой злостью. На себя, на других, на этот мир, на бога, в которого и прежде не верил, а теперь особенно, до сухой ярости.

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился в 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Главный редактор литературно-исторического журнала «Восток Свыше». Автор нескольких книг стихов и прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодёжной премии «Триумф» (2006) и других. Постоянный автор «ДН». Живёт в Ташкенте.

— Давай, — Артур взял термос.

Подождал немного, чтобы не было видно, как ему хотелось этих двух глотков. Глотнул. Зажмурился.

Быстро открыл глаза. Кто-то смотрел на него. Кто-то кроме Вагифа.

Не отнимая губ от фляжки, Артур огляделся.

Пейзаж был прежним, военным. Разбитая двухэтажка. Вагиф, вытряхивающий сигарету. Куски обгорелой техники. Небо, мутное солнце, вороны. Нет, они здесь одни. Только издали редкие выстрелы. Он допил кофе и вернул фляжку Вагифу.

«Враг не пройдёт»

В конце предполагался восклицательный знак. Не хватило краски? Или писавший устал. Последнее «т» вышло маленьким и кривым. Или его просто подстрелили. Неделю назад здесь было жарко.

Артур пнул мятое ведро с остатками краски. Навёл объектив на надпись. Отснято.

Теперь *они* отступили. Зализывают раны, врут в своих «Наташках», «Подругах», от одних названий тошнит. И готовят новый прорыв, где никто не ждёт. Их логику понять невозможно.

— *Они* далеко? — Артур присел на камень. — *Они* далеко? — повторил громче.

— Кто знает... Не кричи. Лучше не садись.

— Почему? — Артур поднялся.

— Седока «снять» легче.

Хотелось поспорить: всё-таки это не первая его горячая точка... Не стал.

«Опытный», как сказали, когда прикрепляли к нему Вагифа. «Сейчас, подойдёт — познакомим». Появился через час, «отдыхал». Зевнул: «А, пресса...» Небритый, с красноватыми глазами. Выпили за знакомство, у Артура было припасено; алкогольная дипломатия. Вагиф сдержанно похвалил напиток, рассказал о себе. В детстве жил с родителями в Москве («занимались бизнесом»). Артур кивал. От Вагифа пахло войной. Артур знал этот запах. Запах курева, несвежего мужского тела, смерти.

Оставался (конец воспоминаний) один вопрос. «Я наполовину армянин», — сказал Артур, когда почти всё уже было выпито-закушено. Посмотрел на Вагифа. «Знаю... — тот снова зевнул. — Какая теперь разница...»

Разницы не было. Разница осталась в прошлом. В старом добром прошлом, когда мужчины могли себе позволить убивать друг друга. За национальность, религию, просто за то, что они — мужчины и должны таким образом регулировать свою численность. Тогда была разница. Хотя Артур её и тогда не чувствовал. Карабах? С его башни в Чертаново Карабах казался далёким, почти сказочным. Карабас-Барабас. Артур был москвич, а это больше, чем нация, кровь, память; больше, чем всё.

Лента воспоминаний оборвалась. Он снова почувствовал... затылком, шейными позвонками, кожей под свитером и курткой. Осторожно повернулся.

Куст. КУСТ (мысленно навёл на увеличение). Наполовину обгоревший, наполовину живой. Слегка шевелится от ветра. Просто от ветра. Артур вытер лоб.

Страх. Даже не со сборов и не с первой поездки, а... с того проклятого вечера, когда он запер Лёну в чулане на даче. Она колотила, кричала, била стекло. А он сидел на полу за дверью, задыхаясь и кусая запястье...

— Будешь ещё снимать? — возник рядом Вагиф.

— А ближе нельзя? — Артур снова говорил спокойно. — Хотя бы парочку трупов...

— Нет. Если не хочешь свой собственный труп заснять.

Шутка была тупой, но убедительной.

— Вернёмся, найду тебе трупчики, — Вагиф спускался. — Каких предпочитаешь: блондинок, брюнеток?

Следом съезжал по насыпи Артур.

Вагиф остановился.

— Ложись!

Оказался рядом с Артуром и повалил на землю. Прозвенела пуля и замолкла. Зашуршали осыпавшиеся камни.

Можно было не ложиться, если точно знать, что подстрелят... Апокалиптическая вспышка боли, потом уже ничего, чёрный бархат, пустота. Что будет дальше с его телом, с кадрами, репортажем — неважно. С незакрытой ипотекой. С Крисом, которому никто не будет покупать нужный корм, вообще никакой корм; скорее всего, просто выбросят. Хотя Крис и так одичал, как начались все эти командировки. Ничего, выживет...

Он лежал, вдавив подбородок в землю.

Хуже, если просто ранят. Особенно *туда*. Они именно туда чаще всего и целются.

Тогда он сам превратится в Крису. В кастрированного домашнего кота. С ним тоже немного повозятся и выбросят. С работы, из недоплаченной квартиры, из жизни. Да он... сам из неё себя выбросит. Статистика самоубийств среди раненых, недавно писал о ней.

Если бы они с Лёной решились тогда на ребёнка... То что? А если бы дочка? Ещё хуже. Забрали бы и увезли. На лечение. Как происходило это «лечение», он тоже знал.

Журналистом его сделала война. До этого он был... какая разница. Долго потом находил у себя бессмысленные визитки. «Артур Сергеев, фотограф-флорист». Работа спокойная, творческая. Ещё сам выращивал цветы, для себя, для души, для Лёны. Вёл блог «Миллион алых роз», около семи тысяч подписчиков. В основном подписчиц.

Он потерял её, эту работу, как многие тогда. Журнал, который он украшал своими снимками, сдулся. Можно было продолжать на фрилансе. Но снимать цветы на траурных венках было тошно. А они в основном были теперь только там.

После того, что случилось с Леной, он выбросил все цветы. Уничтожил фотографии. Все. Бедный Крис ничего не мог понять, забился под диван.

Сам пошёл и записался добровольцем.

Не для того, чтобы убивать *их*.

Для того, чтобы легально, на законных основаниях, исчезнуть самому, в пустоту и бархат. А *их* он тогда скорее жалел. Ненависть придёт и наполнит его позже, когда поймёт, что *они* — это уже не они. А тогда он ненавидел только самого себя. И всё, что напоминало о прежней жизни, что нельзя было быстро уничтожить, как цветы и снимки.

Их собрали и вывезли на учения. Огневая подготовка, рытьё окопов; он много курил и фотографировал. Потом их, недоученных, бросили на прорыв. Враг наступал.

Ранение было несильным, пулю извлекли быстро. Он (стыдно вспомнить) кричал и мазал слюной подушку. Но боль отрезвила его, заставила снова полюбить себя, своё тело, жизнь. Хотя бы немного. Он вернулся в Москву, забрал одичавшего Криса, прибрался в квартире. Последние перевязки ему делали амбулаторно.

Надо было на что-то жить, выплачивать ипотеку, кормить себя и Криса.

Как было совместить прежний опыт фотографа и блогера с новым? Он стал военкором. Быстро нахватал нужных знаний, словечек, знакомств. Стал реже бриться. Бороду пока не отпускал, Лена бы не одобрила...

Он честно пытался задушить память о ней. Почти задушил. Но она нет-нет покусывала его, эта память. Раз в год, в её день рождения, ездил на кладбище. Да, рисковал. Иногда там устраивались облавы на тех, кто навещал женские могилы, забывая о своём мужском самосознании, поддаваясь власти инстинктов. Он смотрел на единственную оставшуюся фотографию из *той* жизни. Лена с букетом цветов. Несколько раз собирался уничтожить этот снимок и не мог.

Сколько они так пролежали?

Ещё одна пуля. Что-то упало неподалёку.

Стало легко, Вагиф перестал прижимать его к земле.

Артур поднялся. Быстро, как ему показалось. Р-раз... Вагиф был уже на ногах.

Но вначале он увидел не Вагифа.

Хотя никакого «вначале» здесь не было, всё мгновенно. Р-раз... И всё-таки на полсекунды раньше он увидел её.

— Stand up! — гаркнул Вагиф на международном языке ненависти.

Она тяжело поднялась.

— Hands up!

Медленно подняла руки.

Покачнулась, махнула одной, пытаясь удержать равновесие. На земле, где она лежала, камни были тёмными и мокрыми. Она была ранена.

«Может, это мы, мы в этом виноваты?» — «Чем?» — «Не знаю.

Что-то делали не так, унижали, оскорбляли *их...*» — «Чем?» — «Не знаю... Не знаю!»

Откуда этот диалог?

То страшное тёплое лето. После вирусной зимы и вирусной весны. Когда уже начались военные действия, но жизнь ещё продолжалась. Как-то, где-то, кусками, отрывками. Он продолжал снимать цветы, ходить в качалку. Лену прятал на даче, верил, что пронесёт. Главное, чтобы у неё не было контакта, никакого.

И сам пару раз тайком приезжал к ней. Не выдерживал. Это был риск, хотя каждый раз перед этим он сдавал тесты. Потом он проклинал себя за те два раза. Да, мужчины не болели, но могли быть переносчиками. Но она сама проговорилась, что один раз выбралась через окно, дошла до реки... Нет, никого не встречала. «Точно никого?» — «Никого!» Как было проверить? Никак.

«Пойми, Арт, мы просто стали *им* не нужны. Мы, мужики. Впервые за несколько тысячелетий, за всю историю, не-нуж-ны. Мы бились над разными изобретениями, прогрессом... И добились. Теперь они могут спокойно обходиться без нас. Даже беременеть без нас, у них этой замороженной спермы знаешь сколько? А кто это изобрёл — технологию с её хранением? Они? Мы им это и изобрели».

Чей всё-таки это был голос?

Кого-то из друзей, у него они ещё были, пока не смыло войной. Один погиб. Другой бежал, неудачно, тормознули на границе; Артур скидывался на адвоката. Третий бежал удачнее, попал в «хорошие» списки, живёт в резервации, где-то под Мюнхеном. Одной из лучших. Продолжает заниматься программированием, а не только оказывает секс-услуги, для которых их там, по слухам, держат. Одно посещение резервации стоит... неважно сколько: у них своя валюта. Как обёртки от конфет, в руки взять противно.

Были ещё друзья, которые не погибли, не сели и не бежали. Просто исчезли из его жизни, как только ушёл в ополчение. Перестали лайкать, отвечать, узнавать. Он не осуждал. Не хватало сил ни на злость, ни на доброту; весь внутренне выгорел после Лены, после всего. Дружеского общения ему вполне хватало с глупым Крисом.

«Короче, наша миссия в *их* глазах выполнена, — голос звучал тише, но ещё можно было различить. — Удовлетворяться могут без нас. Рожать без нас. Детей (да не детей — девочек!) растить без нас... Тяжёлую работу... за них машины, а на что своих мозгов... пожалуйста, искусственный интеллект. А мы всё валим на этот вирус...»

Эти голоса иногда возникали в нём. Лечился от них коньяком; приходилось всё увеличивать дозу. Он хотел забыть. Забыть, забыться, уйти в чёрный бархат.

Она стояла, чуть покачиваясь и морщась от боли.

Заложников уже давно не брали. Ни та, ни другая сторона. Вначале, да, ещё брали. «Проявите гуманизм — победите онанизм», — хмуро шутили в окопах. Результат: разложение, измена присяге, венерические болезни. Теперь сразу пристреливают.

Тимур Максютов

Белый палач

Рассказ

Сначала меняются звёзды: они предчувствуют близкую гибель и бледнеют. Совсем как люди перед смертью.

Кровь отливает от щёк, от кожи, от конечностей; человеческий организм предчувствует проникающий удар и убирает кровь внутрь себя, чтобы потерять её как можно меньше.

Это работало сотни тысяч лет назад, когда человек ждал клыков саблезубого тигра или рогов взбесившегося буйвола.

И тысячи лет назад, когда неверный взмах бронзового меча обнажал бок, куда уже летел наконечник вражеского копья.

Но вообще не работает сейчас, когда туловище рвёт автоматная пуля, летящая со скоростью в три Маха. Хоть прячь кровь, хоть не прячь, — маленький кусочек металла разорвёт кожу, мускулы, артерии и вены, весь этот сине-зелёный ливер и бурые, прокуренные «Охотничьими» за шесть копеек лёгкие, расщепит нервы, заставляя их орать прямо в мозг о дикой боли и жутком желании жить, жить во что бы то ни стало, но мозг в лучшем случае быстро вырубится от шока, уменьшая страдания; однако душа твоя продолжит визжать, не желая расставаться с этим телом, с этим миром, уходя туда, где нет ничего, кроме ледяной тьмы и вечного молчания.

Я знаю всё это. Я, Сафед-чаллоди, так меня называют в Долине, знаю гораздо больше о смерти, чем мне хотелось бы.

Звёзды тоже не хотят умирать; они не понимают, что вернутся следующей ночью. Над изломанной линией гор небо начинает бледнеть, и бледнеют звёзды,

Максютов Тимур Ясавеевич родился в Ленинграде в 1965 году. Вырос в Таллине. Окончил высшее военное училище (1986), служил в Забайкалье, на Урале, в Монголии. Капитан запаса. Публиковался в журналах «Дружба народов» и «Новый мир». Автор сборников рассказов, книг для детей и романов «Офицерская баллада» (2016), «Князь из десантуры» (2016), «Нашествие» (2017), «Спасти космонавта» (2017), «Атака мертвецов» (2018), «Чешуя ангела» (2021). Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. им.Н.В.Гоголя (2020 и 2022). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

уходя; из них медленно вытекает кровь, окрашивая восток розовым, потом красным. Потом раскалённый шар разбухает багровым, как расколотый топором череп, и неспешно поднимается в зенит, чтобы властвовать над Долиной долго, вечно, до самого заката.

Солнце будет выжигать остатки травы, загоняя тощих овец в тень, будет испарять остатки влаги в арыках и накладывать чёрный грим на лица всех в Долине: аксакалов и бачей, аскеров и пленных.

Только меня не тронет. Потому что я Сафед. Сафед-чаллоди.

Даже Солнце брезгует касаться меня лучами. Я проклят. Когда я умру, я не попаду в рай к прекрасным гуриям, ждущим среди прохладных фонтанов. Я не попаду в ад, где вопли грешников, пламя и страдания, но хоть какая-то компания и какие-то впечатления.

Я уйду туда, где нет ничего, кроме ледяной тьмы и вечного молчания.

И предсмертных криков тех, кого я убил.

* * *

Деревня дедушки, куда меня в очередной раз сослали на летние каникулы, называется Николо-Берёзовка. Это старинное русское купеческое село на Каме, когда-то его окружали ров и вал с частоколом, а бородатые дядьки-ополченцы бродили ночами, раздувая фитили пищалей, гремя трещотками, и вглядывались во тьму, прислушиваясь: не звякнет ли сбруя коня непокорного башкирца, не зазвонит ли тетива дезертира-тептяря?

Сейчас в селе живут и русские, и татары, и башкиры, и удмурты с того берега, из Сарапула; живут своими обособленными кварталами. Хотя радио «Маяк» с шести утра и до полуночи вещает о едином советском народе и интернационализме, мальчишки всё равно собирают футбольные команды по национальному признаку. Матчи всегда заканчиваются драками, независимо от результата.

Бабушка говорит:

— Коленька, сходи на низ за хлебом. Шесть буханок возьми. Вот тебе рубль и авоська.

Низ — это нижняя часть села, старинная. Там заброшенная церковь Николы, поросшая берёзами, и центр жизни: клуб, сельсовет и магазин.

Только идти туда через татарскую улицу. Пацанов нет, они на рыбалку умотали. То есть идти придётся одному. И огребать в одно рыло.

Я ворчу:

— Бабушка, а в газете писали, что нельзя корову хлебом кормить. Неправильно это, не соответствует принципам социалистической экономики. Наши партия и правительство заботятся о том, чтобы у советского человека было вдоволь дешёвого хлеба, а вы его — корове!

Бабушка бледнеет, крестится.

— Да что ты, внучок! Какой корове? Сами съедим.

— Креститься, бабушка, тоже неправильно, потому что бога нет. А уж врать пионеру вообще почти контрреволюция!

Это запрещённый приём. Бабушка охает, становится блее простокваши

и падает на лавку. У неё за контрреволюцию расстреляли отца и брата, а саму отправили в специальный детдом, она только в войну смогла сбежать и вернуться в село.

Бабушка из-под передника вынимает кожаный кошелек, расщёлкивает железные шарики:

— На вот, Коленька, ещё двадцать копеек. Мороженого себе купи.

Я кую железо, не отходя от кассы:

— Полтинник!

Бабушка вздыхает, добавляет две монеты по пятнадцати.

За ворота я выхожу триумфатором. Хотя внутри грызёт: идти одному — почти наверняка нарваться. Могут и полтинник отобрать. Всё не станут, а полтинник — легко.

Нельзя одному.

На брёвнах сидит Маратка, книжку читает, зануда. Тоже на каникулах, из Москвы. Формально татарин, но отчим у него русский, так что по-татарски в семье не говорят. Маратку не признают ни русские, ни татарские пацаны: ничей он. И вообще москвич. Весь из себя начитанный, правильный, чистенький, ресницы как у девчонки — хлоп-хлоп! Позорище.

Но выбора у меня нет.

— Эй, Москва!

Марат испуганно захлопывает книжку, смотрит на меня, ёжится:

— Что, Николай?

— Какой я тебе, блин, Николай? Колька я. Ну-ка, закончи стишок: «Налетели, как грачи...» Ну, кто?

Маратка мнётся. Шепчет:

— Пидарасы-москвичи...

И немедленно краснеет. Вот ведь недоделанный!

Подхожу, хлопаю по плечу:

— Зыко ответил, правильно. Пойдём со мной в Нижнюю?

Маратка замирает. Неужто его признаёт за своего нормальный пацан?

— А что, надо помочь?

— Ну да. Шесть буханок тащить! Одному напряжно. А там мороженку тебе куплю.

— Ага. Конечно. Помогу. Только у тёти отпрошусь.

Я кривлюсь:

— Ты пацан или кто? Зачем тебе разрешение, ты же не малолетка, двенадцать уже. Пошли, пока зову.

— Да-да. Только книжку отнесу домой.

— Да кому она нужна, твоя книжка? Небось, не папиросы. Сунь под брёвна, и все дела.

Маратка замирает. Прижимает к груди книжку, словно это какое сокровище. Потом спохватывается, срывает лопухи, выбирает почище. Заворачивает книжку, прячет под брёвнами.

— Пошли уже, тормоз.

* * *

Думал, проскочим. Фиг там. Уже в конце улицы засвистели, из-за угла вывалил Альберт с шоблой, человек пять. Подумал, кранты.

— А чего это ты, инняян кутэ, по нашей улице ходишь? За дорогу платить надо.

Я сглотнул сухой комок. Стараясь не дрожать голосом и не частить, медленно оглядел Альберта. Сплюнул. Спросил:

— А ты что, кондуктор, за вход брать? Билетик оторвёшь?

— Оторву, — пообещал Альберт. — И билетик, и яйца. И зубы посчитаю заодно, а то у меня по математике переэкзаменовка, подучу слегка. Ты чё, борзый?

Любой мой ответ сработал бы, как детонатор, но я не успел: вдруг влез Маратик.

— Мальчики, не мешайте нам! Мы за хлебом идём.

Блаженный, вздохнул я про себя. Теперь точно уроют.

Альберт растянул щербатый рот в улыбке, оглядел свою кодлу.

— Это что за экспонат?

Шестёрка подскочил, ответил торопливо:

— Это Марат, племянник у Резеды-апа с Ключевой. Из Москвы.

— О! Татар кешесе?

— Да куда там, он с русскими...

— Погоди, не таракти. Эй, Марат, татарца сейлешесенме?

Марат порозовел, хлопнул девчачьими ресницами и промямлил:

— Что, простите?

Улыбка Альберта завернулась за уши.

— Вот какой к нам пришёл чушка баласы розовенький.

Они начали окружать Маратку, закатывая рукава, обматывая кулаки ремнями, счастливо лыбясь.

Я сделал шаг. Ещё и ещё. Побежал в сторону Нижней.

Они даже не оглянулись.

* * *

Овец гонят на пастбище, где они будут выкусывать выгоревшие на солнце былинки. Овцы блеют обречённо, безнадёжно: что у них за жизнь? Жратва никакая, стригут наголо, потом зарежут. Всё как у людей.

Халима, прикрывая лицо, ставит передо мной чайник, кладёт сухую лепёшку. Я протягиваю руку, она испуганно отпрыгивает, боясь моего касания. Я глухо смеюсь. Или кашляю. Наверное, я совсем разучился смеяться.

Приходит раис кишлака. Садится в тень карагача, гладит белую, как хлопок, бороду, прикрывает глаза. Ему тоже противно смотреть на меня. Он молчит. Я тоже молчу, отламывая от лепёшки и размачивая в чае кусочки. У меня нет передних зубов: мне их выбили три года назад.

В этих горах жуткий дефицит протезистов, стоматологов, газет, радио. И вообще всего, что не влезает в границы пятнадцатого века.

Раис говорит:

— Сегодня двое. Офицер и солдат.

Мне всё равно, но раис зачем-то объясняет:

— Аббос-бек посылал людей договориться с шурави об обмене, но там была засада, наших убили. Поэтому ты казнишь пленных ножом, а Умар будет фотографировать. Пусть шурави увидят страшную смерть во всех подробностях, пусть их глаза наполнятся ужасом и лопнут, как перезревший виноград, пусть их желчь поднимется в их поганые горла и задушит их, да будут они прокляты вовеки. Ибо, видит Пророк, да процветает его имя в веках, мы не хотели зла, а хотели обмена.

Я морщусь. Я не люблю ножом, у меня нет навыков местных дикарей, с отročества разделяющих бараньи туши. Опять будет много крови, а чапан мне новый не выдадут, как и штаны.

— Давай из автомата, а?

Раис кривится. Он говорит медленно, чтобы я понял чужой язык; слова падают тяжело, как капли крови из выпотрошенного тела.

— Ты забыл, кто ты? Ты забыл, почему ты здесь? Ты вдруг решил, что искупил вину? Так вот, твоё преступление не подлежит искуплению ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет, потому что ад не примет тебя, потому что самого Иблиса вырвет гнильём, когда он посмотрит на тебя. Ты будешь резать своих соотечественников на куски столько, сколько тебе будет сказано. А когда шурави уйдут с нашей земли и тебе станет некого казнить, ты будешь каждый день отрезать от самого себя по куску мяса и сжирать сырым. Пока не кончишься весь. Потому что ты — Сафед-чаллоди, будь ты проклят тысячу тысяч веков.

* * *

Велосипед так себе: старенькая «Украина», тяжёлая и небыстрая, но всё равно машина. Вывел со двора, а тут — Маратка. Физиономия не розовая, а синяя, пальцы забинтованы, ковыляет боком. Прилично ему досталось, меня даже царапнуло холодным коготком где-то внутри, но я справился.

— Ну, чего тебе? Нить будешь? Чего не убежал?

Маратка хлопает длинными ресницами, хоть их не выдрали.

— Что ты, Николай! То есть это, Коля. Я ведь тебя прикрывал, чтобы ты успел. Как я мог убежать? Это как солдата оставляют прикрывать отход товарищей, он должен погибнуть, но всех выручить.

Сплюнул. Реально блаженный. Отход он прикрывал, последний пулемётчик.

— И чего тебе надо?

— Посоветоваться. Мне не у кого спросить, кроме тебя. Мы же друзья?

— Друзья, друзья.

Маратка розовеет, это видно даже сквозь синяки.

— Такое дело. Бродячий мулла пришёл, это такой исламский поп, он у дяди Искандера сейчас живёт. Предлагает сделать суннет.

— Чего?!

— Ну, обрезание.

— Обрезание чего?

— Это такой обычай у мусульман.

— А, вспомнил! Это когда письку отрезают, мне Рамиль-абый в магазине рассказывал. Правда, пьяненький был. Врал, наверное. Кто же согласится в трезвом уме письку отрезать?

— Ну, там не всю письку, только кусочек.

— Всё равно, даже если кусочек, писька и так не шибко большая. Всё-таки вы, татары, странные, честное слово. Я бы ни за что.

— Кусочек кожи, с самого краешку. Словом, этот мулла зовёт, а я один боюсь, пойдёшь со мной?

Я чуть велосипед не уронил.

— Ты что, чокнулся? С чего вдруг?!

Маратка пылает розовым сквозь синяки. Удивительный какой-то овощ, словно баклажан поверх томатной пасты.

— Подожди, Коля. Он обещает три рубля денег...

— Что? Вот тут подробнее.

— Три рубля, килограмм пряников и живого зайца — выпаливает Маратка. — Деньги — ладно, но заяц!

— Да какой нафиг заяц! Три рубля. Подожди, я велосипед поставлю, и пойдём.

— Не сейчас, он сказал — вечером приходить. В шесть часов. Ты придёшь?

— Приду. Три рубля! Конечно, приду. Чёрт с ней, с писькой.

* * *

— Сосна-пять, я Берёза. Доложите обстановку.

— Берёза, я Сосна-пять. Выходим на кишлак, дистанция тысяча сто. Пехоту вижу, лежит.

— Само собой, лежит. Там дувал крайний, красноватый такой, из него пулемёт работает. Видишь?

— Вроде вижу.

— Сосна, никаких «вроде»! Кишлак большой и мирный, это от Аббос-бека группа. Он раиса местного пристрелил и вошёл. Стрелять только при стопроцентной уверенности, слышишь? Никаких перелётов! Один осколочно-фугасный, и всё. Подойди ближе, насколько сможешь, чтобы наверняка. На четыреста, не больше. Чтобы по мирняку не прилетело. Ясно?

— Да ясно, Берёза. Не бздо.

— Николай, ты за речью следи. Отвечай, как положено.

— Берёза, я Сосна-пять. Задача ясна, приступаю к выполнению.

— То-то.

Задача, конечно, ясна. Вот только дураков нет в упор подходить, живо из гранатомёта прилетит. Знаю я этих «мирных». Все они духи, всех мочить надо.

— Наводчик, давай. По крайнему дувалу, там амбразура выбита. Чёрное пятно, сечёшь? Клади туда. Один осколочно-фугасный на всё про всё, второй попытки нет.

— Командир, погоди. Далеко. Ближе надо.

— А, салага! Слезай с табуретки, ссыкло.

Я поменялся местами с наводчиком. Положил ладони на «уши». Навёл. Нащупал кнопку.

— Заряжающий, осколочно-фугасным!

— Готово!

— Выстрел!

Снаряд поднялся по дуге, выше, выше — и разорвался где-то в центре кишлака, выбросив красно-чёрный фонтан горящих обломков.

— Чёрт, перелёт. Заряжающий, ОФ.

Пушка прыгает назад, танк приседает, гильза вылетает со звоном. Перелёт.

Что-то орала в ухо Берёза; я содрал шлемофон, завёлся.

Только на пятом выстреле понял, что забыл выставить в прицеле дистанцию. Но было уже плевать.

— Осколочно-фугасный!

— Выстрел!

— Осколочно-фугасный!

Кишлак не было видно за чёрной стеной дыма. Я стрелял в это марево, ненавидя всё и всех: эти чёртовы горы, в которых либо жутко жарко, либо чудовищно холодно; зелёнку, из которой летит всякое дерьмо, бачей, швыряющихся камнями, рыжие остовы вдоль разбитых дорог, разбухшие на солнце трупы и трупы, скрючившиеся в арыках; густой жёлтый дым в башне, с которым не справляется вентилятор, тупого механика, слишком медленно едущего к кишлаку, тормозного заряжающего, всхлипывающего за спиной наводчика, и Берёзу, бормочущую что-то невнятное в брошенном под ноги шлемофоне...

— Осколочно-фугасный!

— Кончились, товарищ сержант!

— Кумулятивным давай!

Я припал к прицелу и увидел, как в замедленной съёмке: чёрная точка с четырьмя яркими плюмажами, цветущими крестом, всё ближе и ближе.

Крестом.

Всё, кирдык.

Потом меня тащили из башни. Потом пришли эти, из кишлака; я слышал и видел словно сквозь вату. Они что-то кричали, спрашивали; я догадался, что спрашивали, кто стрелял. Я ткнул в наводчика. Он не успел возразить, только вылупил глаза; дух махнул ножом, на горле наводчика появилась тонкая ровная линия, брызнуло алым; потом они выстрелили механику в лицо, и оно превратилось в яму, потом они отрезали кисти заряжающему и смотрели, как он орёт, глядя на обрубки. Потом подошли ко мне.

Я вдруг понял, что моя очередь. Что я сейчас умру, причём навсегда.

Я закричал:

— Брат, не убивай! Я ваш, мусульманин, вот те крест!

И принялся сдирать штаны.

* * *

Офицер долго не кончался. Не выл даже — повизгивал, словно поросёнок.

Умар отщёлкал плёнку и, довольный, пошёл заряжать новую.

Я вытер нож о чапан: всё равно безнадежно испачкан. Повернулся к солдату.

— Ко... Коля!

Румянец сквозь синяки, ресницы, как у девки.

Маратка.

Как же тебя угораздило?

Я сказал раису:

— Подожди. Этого я знаю. Он татарин, мусульманин. Его нельзя убивать, он же ваш.

Раис хмыкнул:

— Ты тоже мусульманин. Но ты не наш. Ты погубил столько детей и женщин, что никогда не сможешь искупить вину. Мы не убили тебя, но тебе самому не кажется, что лучше бы убили? Или тебе нравится резать на куски своих? Ты чудовище, собачье дерьмо чище тебя.

Я повернулся к Маратке, закричал:

— Снимай штаны, скорее! Покажи им.

— Что показать?

— Что ты обрезанный. Тогда пощадят.

Марат рассмеялся; это выглядело жутко. Передо мной смеялся труп.

— Коля, это ты обрезанный. Вспомни, я не смог прийти, меня тётя Резеда не пустила. Сказала, что пряников и так мне даст, а вместо зайца во дворе полно гусей, какая разница?

— Дурак! Ты дурак!

Я бросился к раису, упал на колени, целовал край его халата:

— Отпусти его, он ни в чём не виноват, он никого не убивал. Я вечно буду служить тебе, твоему кишлаку, твоему народу, только отпусти этого мальчишку.

Раис брезгливо вырвал край халата. Посмотрел на меня.

— Вечно, говоришь?

* * *

Когда приходит ночь и жемчужины рассыпаются на чёрном бархате.

Когда кони ложатся на землю перед рассветом в Час Быка...

Когда приходит рассвет и заливают багровой кровью небо...

Когда зима, когда лето, когда буран, снегопад и дождь...

Я, Сафед-чаллоди, Белый палач, обхожу землю Афганистана и собираю кости. Я пою колыбельные сгоревшим заживо младенцам, я баюкаю оторванные фугасками руки и вставляю в черепа вырванные глаза.

Их много. Миллионы.

У меня вечная работа.

Настасья Реньжина

Ходун

Рассказ

Жили-были муж и жена. Илья и Марья. Жили как все: не бедно — не богато, не сладко — не горько, не в счастье — не в печали. Имели двух детей — сына да дочь, двух же коров, трёх свиней и с десяток куриц.

Жена всё по хозяйству хлопотала, за скотиной ухаживала — всё на ней. Молоко с куриными яйцами продавала, тем и зарабатывала, так и семью содержала.

Муж работал-работал, а потом в один день без работы остался. Кончилась вся. Направо ходил — нет там работы, налево ходил — и тут пусто, прямо и даже назад заглянул, но и там ничего не нашёл. Нет её в деревне, а за деревню выходить — это уж страшно, это уж далеко, так уйдёшь и назад не воротиться.

Вот и сидел себе муж целыми днями на лавочке, детям игрушки деревянные вырезал да иногда по соседям дрова за двести рублей в день колот.

Но тем семью не прокормишь.

Жена на мужа ворчала, куда деваться. Он обижался, потому как делал всё возможное, но ничего не получалось. В такие дни они детей ссорами своими пугали, из комнаты убраться приказывали, а после и сами по разным углам расходились. По утру друг с другом не разговаривали, но к обеду обиды забывали.

Так, глядишь, себе и жили бы, если бы не война.

Муж про войну по телевизору слушал-слушал, слушал-слушал, от соседей слушал-слушал, слушал-слушал, потом вещи собрал, в военкомат ходил, а оттуда — на фронт.

Жена погоревала-погоревала, дети поплакали-поплакали да и смирились. Что ж поделать — на то отцовская воля.

Стали дальше жить. Отца да мужа с войны ждать. Эсэмэски ему слать. Ответные всей семьёй вслух зачитывать, а если что героическое попадётся, так и по соседям с телефоном можно пройтись.

Настасья Реньжина (Реньжина Анастасия Олеговна) родилась в Чагодошенском районе Вологодской области. Окончила отделение журналистики Вологодского государственного Педагогического университета. Автор книг «Бабушка сказала сидеть тихо» и «Сгинь!» (Эксмо). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Полгода прошло. Год прошёл. Эсэмэски от мужа пропали вдруг. Перестали приходить, и всё тут. Марья на себе волосы рвала, из угла в угол ходила, а рыдать боялась: что ж плакать, если муж просто не пишет. Вот если бы умер, тут другое дело, а раньше смерти слёзы не лей. А так кто ж его знает — может, телефон сломал или потерял, а где ж в окопе новый раздобудешь.

Чай, не в сказке — в бою.

Первый раз пришла похоронка в марте. Жена её прочла и в печи сожгла. Не поверила. Это ошиблись. Это не про Илью. Это не Марье.

Второй раз пришла похоронка в мае. Жена немного помаялась: похоронку прочитала, под лупой рассмотрела — не поддельная ли, да не поняла ничего. На денёк между поленьев её положила, вдруг исчезнет — вот и уйдёт беда. Поутру встала — на месте похоронка. Взяла и эту сожгла.

Третий раз пришла похоронка в июне. И только тут поверила жена, что нет мужа в живых. Детей подозвала и зарыдала:

— Сиротинушки вы мои! Расти вам теперь безотцовщиной.

Дети тоже поголосили, хотя толком не поняли, отчего мать плачет, зачем сиротинушками обзывает.

По ночам жена в подушку утыкалась и бормотала:

— Хоть бы ты вернулся. Хоть бы вернулся.

Верила ли в возвращение, нет ли — всё равно. Бормотала своё:

— Хоть бы ты вернулся. Хоть живым, хоть мёртвым.

Тело-то мужнино так и не отдали. Похоронок аж три штуки прислали, а то, что хоронить нужно, себе оставили.

Так и стала жена без мужа жить. Месяц жила, два жила, полгода жила, год жила. Привыкла без мужа. Из жены во вдову превратилась.

Чёрное да серое носила, цветные платья в мешок да под кровать убрала. На других мужиков не заглядывалась: это нечего, когда двое деток имеется. Да и заглядываться не на кого, все нормальные мужики в деревне давно разобраны, а ненормальные ей не надобны. А ненормальные — это пьяницы да дураки. К чему с такими водиться?

Соседка, баб Глаша, говорила ей:

— Ты молода ишшо. Самый сок. Мужичонку бы тебе, да покрепше.

А вдова рукой махала и морщилась:

— А ни к чему мне это, баб Глаш.

Та не унималась:

— Давай хоть на любов погадаю, на суженого поворожу.

Вдова головой лишь качала:

— Мне твоих заговоров и гаданий не нужно. Боюсь я такого. Ты лучше вон другим гадай, а от меня с таким отстань.

Долго ли, коротко ли, муж вдруг домой и впрямь вернулся.

— Встречай, — говорит, — жена, мужа своего.

Вдова обомлела, не знает, как обратно в жену обратиться.

Обнять мужа или не обнять? Расспросить, где пропал, или не расспросить?

Чёрт его поймешь.

На стол накрыла, ложку дала, а сама сидит и смотрит, как муж ест.

А он тарелку супа чуть ли не разом выпил. Добавки просит. Жена налила ещё, он и эту тарелку проглотил махом. Хлеба полбуханки съел. Ишь какой голодный.

Поел и спать улёгся, да на трое суток. От храпа дом трясся, дети ночевать по друзьям разбежались.

По деревне шустро слух побежал, что Илья вернулся. Соседи, близкие и дальние, мимо дома то и дело ходят, не ленятся и крюк сделать, всё в окно норовят заглянуть. Встанут возле калитки и разговоры говорят — надеются, что выйдет хозяин, что получится на него хотя бы мельком глянуть.

А хозяин из дома никуда. Выспался, отъелся — ничего-то ему больше и не надо. Слезает с кровати, садится за стол, так весь день и сидит, слова не вымолвит.

— Ты б пошёл к соседу, что ли, в гости, — советовала жена.

— Нечего, — отрезал муж.

— По деревне прогуляйся.

— Нечего.

— В реке сходи искупаться.

— Нечего.

Всё ему нечего, что ни предложи.

Случилось так, что на дальнем краю деревни Алексей помер. До пятидесяти не дожил всего месяц. Не справить теперь ему юбилей.

Жена мужу и говорит:

— Надо бы проститься с Алексеем.

— Нечего.

— Вы ведь в одном классе учились.

— Нечего.

— Он не раз тебя, да и всех нас, выручал. Помнишь ли, то в райцентр Мишку с ангиной возил к доктору? А как из области Дашке шубу привёз, когда мы с ползимы достать не могли?

— Нечего.

— А как из проруби тебя вытащил, когда вы ребятами были! Забыл, что ли?

Тут муж призадумался, словно вспомнил, как уходил под лёд, как отказали мгновенно руки и ноги, как промёрз до самого нутра, сосульки словно бы аж по позвонкам повисли. А Алексей в воду окунулся и Илью за ворот вытащил. И взрослых позвал, чтоб скорее в тепло отнесли. Так и спас.

И согласился тогда Илья проводить его в последний путь.

Но пошёл как-то нехотя, будто на поводке тащили. От света солнечного шурился, людей сторонился. Да и от жены на два шага отступил, словно не вместе они.

К Алексею пришёл, в дом заходить не стал, слов поддержки родственникам не произнёс. На пороге встал, и ни взад, ни вперёд. А как Алексеева жена причитать начала, так Илья загоготал во всё горло. Пришедшие с покойником проститься и безутешные родственники смолкли разом, шеи в плечи втянули,

на хохочущего уставились испуганно. Что это он надумал да в своём ли вообще уме?

А Илья отгоготал своё и на улицу вон.

Жена за ним. Неловкая, стыдливая, покраснелась вся. За мужем вслед идёт, окликнуть боится, на спину его широкую смотрит, замечает, что муж ссутулился весь, чуть ли не огорбел. Давно ли?

У калитки решилась — поравнялась в Ильёй. В глаза ему заглянула, а те пустые-пустые и словно мимо мира смотрят.

— Ты чего смеялся-то? — жена мужа спросила.

А он плечами пожал и говорит:

— Да я на Алексея как глянул с порога, так увидел, что возле гроба его черти ходят, в рот залезть хотят, а не получается. Ну я и заржал, чтоб чертей прогнать.

Говорит это, а сам ухмыляется. Жена и донимать больше не стала. В дом зашла, дверью хлопнула.

А по деревне новый слух стал расплзаться. Марье тот слух баб Глаша принесла, но не на блюдечке и без голубой каемочки.

— Муж-то твой и не муж вовсе, — говорит. — Ходун это.

— Ходун? — удивилась Марья. — Это что значит?

— А то, что помер он давно. Похоронки не ввали. Нееееет. Из мёртвых восстал и мертвецом к тебе припёрся. Пять лет с тобой отживёт, потом скотину сожрёт, затем детей, а после и до тебя доберётся.

— Да ну тебя, баб Глаша! — отмахнулась Марья.

— И косточек не оставит!

— Да ну тебя...

Отмахнулась, а сама бояться стала. За мужем в оба глаза с этого дня смотреть начала. А тот и впрямь какой-то прожорливый сделался: что ни положи, что ни приготовь, ему всё мало. И молчалив, не то что в прежние времена. И по ночам не лезет — не ластится, словно женские прелести перестали его интересовать. Про детей уж и вовсе лучше не говорить: тех для мужа вовсе не существует.

Деревенские Илью после Алексеевых похорон совсем в обход. Мимо дома если идут, трижды крестятся. Ночью круга дают, к калитке не приближаются. Днём в гости не заходят, а уж если что очень понадобится, так под окнами кричат, сами же за спиной кол осиновый сжимают. Это мужики не поленились — в лес сходили, осины наломали да на всю деревню кольев навыстругали.

Илья в магазин однажды вышел — нужда заставила, так все из магазина и повывежали. Продавщица осталась, сама тряслась вся, что осиночка, кол от которой она дома оставила-забыла.

— Свят-свят, — в лицо Илье сказала.

Перекреститься захотела, а сама и руки поднять не может. Кое-как отпустила мертвеца. Потом при всей деревне долго недоумевала, зачем это неживому сигареты вдруг понадобились. Порешили дружно, что в аду сигарет не дают: подкурить есть от чего, а подкуривать нечего.

Ребятишки за Ильёй следом бегали и дразнились:

— Мертвец! Мертвец идёт! Мертвец идёт! Мертвец-мертвец!

Мамки на них шикали, за руки хватали, крапивою стегали, приговаривали:

— Не бегай за мертвецом, поймает и съест. Не бегай за мертвецом!

Мужики руку Илье перестали подавать — боялись мертвечиной пропахнуть. Ну или, того хуже, что утащит с собой на тот свет. На том свете даже мёртвому товарищ нужен.

Жена за мужем смотрела без конца: вот тень не отбросил, в ночи в зеркале не отразился, от огня подальше держится, под Красный угол не сядет, в церковь не ходит, церковные свечи в доме жечь запрещает.

И всё жрёт-жрёт-жрёт-жрёт. Когда уж и наестся досыта? Неужели тогда, когда всю скотину пожрёт, детей проглотит, а после и жену свою?

Марья годки посчитала с тех пор, как муж вернулся: четвёртый уже почти к концу подошёл.

Испугалась.

Запаниковала.

К баб Глаше побежала.

— Баб Глаш, а что нужно, чтоб от ходуна избавиться?

— Ага, признала в муже ходуна таки, — протянула баба Глаша.

А жена глаза потупила, щеками покраснела:

— Да не. Да я так. На всякий случай.

Баб Глаша понимающе кивнула, донимать несчастную не стала.

— А нужно в полночь пойти в хлев, — рассказала. — При порожке оставить кружку молока да ломоть хлеба для овинника. Говорить ничего не надо, а то выйдет овинник, заболтает, за собой уведёт. Оно тебе надо? А умаслить его надобно, чтоб не злился, что по ночам по хлеву шастаешь. Свиньям в корыто воды из колодца налить и яблочек с дикой яблони побросать туда.

— Так уж и яблочек нет, — растерялась Марья.

— А я тебе сушёные дам, тоже сойдут. Как раз для такого случая приберегла.

Как знала.

— Хорошо.

— Ой, — всплеснула руками баб Глаша. — А корыто-то у тебя деревянно хоть?

— Деревянное, — подтвердила Марья. — Ещё Илья вырезал из цельной осины.

И добавила:

— Пока жив был.

— Царствие ему небесное, — кивнула баб Глаша. — Это очень хорошо, что деревянно. А что сам строгал, так и совсем замечательно. Ты дождись, чтоб свиньи всю воду вылакали, яблоки подьели. После корыто бери и в дом тащи. В следующие после этого тринадцать часов надобно будет корытом ходуна по рукам ударить и сказать: «Ступай откудова пришёл!» Вот и всё. Он и сгинет тут же.

— Так тяжёлое корыто же, — растерялась Марья.

— А ты что думала, — развела руками баб Глаша.

Той же ночью отправилась Марья в хлев. Хлеб взяла, молока — всё как полагается. В коридоре ведро прихватила, протащила с ним до конца улицы — только там колодец ещё сохранился, а так во всех домах уж сто лет как водопроводы.

Чуть расплескала колодезную, но донесла. Яблоки сушёные все до единого в ведро высыпала. Они размякли немного и тонкий аромат распространять стали. Перепрелого, перезрелого, пережитого. Вдохнуть и оставить бы внутри навечно.

Зашла в хлев, а сама боится — вдруг овинник и впрямь выйдет да с ней заговорит. Этак же и в обморок грохнуться со страху можно.

Свет скорее зажгла. Свиньи недовольно захрюкали — кто это там посмел их в неурочное время потревожить?

Хозяйку увидели, успокоились.

Хозяйка им воды в корыто налила, с трудом управилась: свиньи будто назло толкались, ведро пяточками поддеть пытались. Проклятые!

Воду выпили, яблоки выловили. Отступили.

Взяла Марья корыто и потащила. Корыто и впрямь тяжёлое — руки вмиг устали. Марье так плакать захотелось, что еле сдержалась. Глаза к небу подняла и прошептала:

— Помоги мне, Господи.

А Он не поможет. А Он в колдовских делах не участвует.

До крыльца еле-еле допёрла корыто, тут и бросила.

В дом вошла, спать улеглась, лишь с зарёй пробудилась.

Над завтраком хлопотала и считала в уме: «С полуночи тринадцать часов — это до часу дня будет. Сейчас восемь. Время есть ещё».

Сама всё понять не могла: как она эту колоду злосчастную поднимет да ходуну на руки уронит.

Вот он за столом, руки — на столе. Так высоко колоду не задрать ей.

Вот он к печи перебрался, руки на лавку положил. Уже лучше, да всё равно высоко. Да и как колодой по дому грохотать? Заметит же, догадается. Съест вперёд скотину и детей.

Так утро всё продумала, уж к обеду день катится. Решила тогда ходуну обхитрить.

— Илюша, — говорит ему. — Я там на улице колечко обронила обручальное, а глаза совсем не видят. Ты не поищешь?

— Поищу.

Сама колечко-то давно с руки сняла и в шкатулку положила: не могла носить при мёртвом муже.

Ходун на улицу, Марья за ним. Тот по двору принялся бродить, ногами шаркать, только пыль поднял столбом.

Нет, этак с ним не справиться.

— А ты на ощупь, Илюша, — подсказала Марья. — Я б и сама, да вот спину прихватило.

— Хорошо.

Какой-то он слишком покладистый. Вот уж точно — не муж он. Муж бы давно в Тридевятое царство послал. Ещё бы и затрещину отвесил — так, для профилактики. Чтоб не лезла с советами под руку.

Ходун на четвереньки опустился, по земле стал руками шарить. Марья же корыто схватила — уж где и силы нашлись — подняла его высоко и по рукам ходуну огрела.

— Ступай, откуда пришёл!

Ходун заголосил, на землю сел, руки к груди прижал. Руки посинели, но больше ничего не случилось — не исчез он, не провалился в преисподнюю.

— Ты что творишь, дура? — прошипел.

— Я думала, ты — ходун, — пролепетала та.

— Кто, блин?

— Ходун, — еле слышно сказала жена. — Вся деревня про тебя говорит...

И осеклась. И замолчала.

Илья от шока отошёл и заорал на жену:

— Ну ты и дура! Вот так дура! Суеверий дурных наслушалась, сказочкам деревенским поверила и родного мужа без рук оставила! Ну надо же душой такой быть! Двадцать первый век на дворе, а она всё в ходуну каких-то верит! Вот дура!

— Но похоронки же... — растерялась жена.

— Да ошиблись! Я куртку товарищу дал, в ней документы были. А он взял и покурить вышел, тут в него пуля и прилетела. Там у нас вообще такое началось. В заварушке не разобрали, кто жив, кто мёртв. Вот тебе похоронки и слали.

— А телефон...

— Что ж я, потерять не могу?

— Мог бы и с чужого позвонить.

— А я вот номер твой не помню.

Жена Илью в травмпункт отвезла. Там сказали, что шесть пальцев на обеих руках переломано. Два гипса наложили, сделали вид, что в случайную травму поверили.

Жена мужа обратно в дом привела, с ложечки накормила и долго-долго извинялась.

По сей день своего прощения не выпросила.

Евгений Резниченко

Куда ж нам плыть?

* * *

Когда мы возвратимся из похода
И с корабля сойдём на нашу землю,
Доспехи сбросим и лицо омоем
Лазурною водой родного моря, —
Что делать нам? — Подумать ли о том,
Что тысячи невинно убиенных
Тревожить будут память по ночам,
Что тысячи смертей прилипли к телу
И отодрать их можно только с кожей,
А собственную смерть в чужой стране
Мы не нашли. Хотя была надежда. —
Подумать ли? — Подумать. А затем
Раскрыть объятя для детей и жён,
Которые лишь только ждут сигнала,
Чтоб разорвать на части наш отряд
И растащить по семьям, по домам.
Так хищники на части рвут добычу
И тащат в норы. Каждый во свою.

На опустевшей пристани Отчизны
Пустой корабль раскачивает море.

Резниченко Евгений Николаевич — родился в 1961 году на Украине в г. Сумы. Окончил в 1987 году педагогический институт. Работал учителем, директором школы. С 2000 года занимался издательской деятельностью (издательства «Летний сад», «Совпадение», «Центр книги Рудомино»). С 2011 года возглавляет Институт перевода. Автор сборника «Стихотворения и песенки на всякий случай» (М., 2014), публикация в «Литературной газете» (2019). Живёт в г.Чехове. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

И наши жёны подадут к столу
Трофейного вина, заморских яств
И горькие домашние лимоны,
Созревшие в родной земле без нас.
И станем насыщаться мы в молчанье...
Взойдёт луна. И мы начнём рассказ
О том, как жили в этот страшный год,
Зачем и почему мы победили,
А слуги, жёны, дети, старики
Внимать нам будут с затаённым страхом,
Пока не захлебнутся свечи воском
И все увидят лик богини войн,
Светильником священным озарённый, —
Единственное светлое пятно
В огромной зале. И уйдёт луна.
Что делать нам? Услышать шёпот жён,
Спровадивших детей и слуг,
Желающих спокойной ночи старцам?
Узнать прикосновенье губ родных
Иль не узнать? — Но нежная рука
Сильнее отнимает от подушек
Вином тела налившиеся наши, —
Чем боевой рожок бойцов у сна.

И наши жёны в спальню вводят нас.
Нас в нашу спальню. Сколько здесь бывало
За этот год, мы узнавать не станем —
Мы знаем сколько. Значит, никого. —
Для тех, кто возвратился из похода.
И наши жёны станут нас любить
И будут это делать до рассвета,
За свой сперва оправдываясь блуд,
Затем терзая нас за всех наложниц,
Которых истерзали мы за год,
Затем любя, затем в животной страсти,
Затем уже бесчувственно, для ритма,
Потом чтоб было больно, чтоб до крови,
Чтоб закричать, чтоб задышаться,
Насиловать свою любовь к любви
И наконец-то разбудить мужчину,
И разозлить животное, чтоб он
Забыл о коже с липкими смертями,
Вдавил жену в постель, уже сырую,
И нового ей сына подарил бы,
Раз старшего в очередной поход
Возьмёт. Хотя об этом и не знает
Пока ещё. Но знают наши жёны.
От наших жён все беды, вся любовь.

Проснёмся, словно мы не убивали
Чужих детей и города не жгли.
Что делать нам? Пахать и сеять, жать,
Сжимать в объятьях жён, потом служанок,
Потом пуститься в пьянство, а потом
Капризам жён стыдливо потакать,
Пока они в конце концов не скажут
Что месяц уж беременны. Потом
Что делать нам? Пойти на берег моря,
Да навестить знакомых кузнецов,
Да попросить их выковать доспехи
Для старшего, который девок портить
Уже горазд, а по уму — младенец
И знать не знает, что слабейшим местом
И пятка может быть у человека.

Но вот последний мира день наступит,
Хотя об этом только наши жёны
Лишь знали. Потому — лишь наши жёны
Испытывают вдруг недомоганье,
Твердят что роды не переживут,
Что от одних лимонов молоко
В груди их напряжённой верно скиснет
И как тогда ребёнка им кормить,
Что медицина запрещает близость
Вот именно с сегодняшнего дня.

Что делать нам? Оружие готово,
Корабль просмолен. Жёны не дают.
Поднадоел родной земли уют.
Куда ж нам плыть? Куда-нибудь, где снова
Надежда есть, что не вернёмся мы
На этот берег, к пристани вот этой.
В согласье с планом собственной жены
Морской мой путь окончен будет Летой.
Что делать нам? Лишь, восхищаясь прытью
Любимых жён, готовиться к отплытью.

Мы с берега восходим на корабль,
Спиною слыша песни, причитанья.
Но поздно нам оглядываться, поздно.
Мы в новый собираемся поход.
За новыми смертями, новостями
И за своею собственной смертью.
Найдём ли мы её? Но есть надежда.
Куда ж нам плыть?..

Надежда Келарева

Скоропостижнее, чем смерть

* * *

Не просто что-то сделать, а посметь,
Как выскочить из бани на морозе,
Здесь жизнь скоропостижнее, чем смерть,
И воздух, зябкий, до краёв занозен.

Здесь сводит пальцы, но влечёт вода,
Везде вода: куда ни глянь. А гляну,
Покажется: два древних великана
Трясут Неву ковром туда-сюда.

Я буду содрогаться вместе с ней
...Экскурсии по рекам и каналам...
И ощущать созвездие камней
На глубине, которой слишком мало.

* * *

Закалённым деревьям,
Закованным в тени дворам,
Что могу,
Кроме горсти шагов торопливых,
Шагов обмелевших?
Здесь зима не зима, пробиваются
Чёрные плеши
И усопшей травой
На моём доживают бегу.

Келарева Надежда Александровна — родилась в 1998 году в г. Онеге Архангельской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «филологические основы редактирования и критики». Публикации в журналах «Звезда», «Север», «Урал», «Новый мир» и др. Участница мастерской АСПИР (2024). Живёт в Санкт-Петербурге.

Здесь земля не земля
С разбодяженным небом впритык.
Бельевые верёвки, ветров нахлебавшись, качают
Немоту.
Что могу?
Только дёрнуть тревожно плечами,
Не достав
Закалённой,
Мерцающей высоты.

* * *

С утра увязнув в тишине по поясу,
Захочешь взять и вырваться отсюда.
Нагрянет мысль:
Угодить под поезд
Гораздо проще, чем намыть посуду.

Подумаешь и схватишься за губку
И ухмыльнёшься, натирая ложку,
Дивясь обыкновенному поступку
И самому себе дивясь немножко.

* * *

Поскользнувшись, угодить во тьму,
Провалиться по недоразумению, что ли,
И увидеть, как в слепом дыму
Тянут тени тихое застолье.

И угрюмо водка льётся с крыш,
И душа почти неощутима,
Но до исступления сидишь,
Радуясь, что жизнь проходит мимо.

Или так: уже давно прошла,
Но ещё похожа на начало,
Потому и дремлешь у стола,
Словно у последнего причала.

Кто-то близкий, стоя у икон,
О тебе задумавшись, заплачет
И обнимет сквозь тяжёлый сон
Светом, исцеляющим незрячих.

Елена Гордеева

Три ранения лейтенанта Мареева

Воспоминания дочери

От автора

Когда мой муж, лейтенант-двухгодичник, демобилизовался и вернулся уже старшим лейтенантом, мой отец, вернувшийся инвалидом с Отечественной войны, говорил, что его военная карьера сложилась не так удачно: он дослужился только до лейтенанта. Отец много рассказывал о том, как именно ему служилось — с сентября 1941 по август 1943 года. И мы, его бывший зять, его сын, внучки и я, — помним эти рассказы. А мне удалось ещё и записать их. Да, год лейтенантской прозы истёк. Да, записи делала дочь, а не сам лейтенант. И всё же.

Первая порция осколков настигла ещё не лейтенанта, а рядового Мареева на Волховском фронте в феврале 1942 года. Полевой хирург извлёк три: один из левой стопы, два из левого бока. Наркоз был местный, врач не очень трезвый и сильно усталый. Усталость девятнадцатилетнего бойца была, наверное, ещё сильнее. Покуда шла операция, он то и дело засыпал и просыпался не от боли — вздрагивал всякий раз, как доктор бросал в ведро осколки. Они гулко звякали, и раненый запомнил три звяка. В госпитале города Рыбинска не слишком глубокие раны стали быстро заживать, и примерно через месяц выздоравливающий сделал первые четыре шага без костылей. Ещё через месяц выяснилось, что он заметно хромает, хотя нога уже не болит. Видя, как поправляющийся ковыляет, медики говорили: «Молодой человек, можете не стараться, мы всё равно отправим вас на фронт». А боец Мареев как раз очень старался не хромать — не хотел выглядеть убогим.

Гордеева Елена Сергеевна. Окончила факультет русского языка и литературы МГПИ (ныне МГПУ). Работала в Якутии, в поселковой средней школе, в издательстве «Советская энциклопедия» и в районной библиотеке. Автор книги «Плоды шекспиролубия» (ОГИ, 2014). Печаталась в журналах «Знамя», «Интерпоэзия» и других. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Из госпиталя Сергея отправили на командирские курсы. Там он тоже хромал: и когда нужно было ходить, и когда бегать (не стометровку, а километры, и не с пустыми руками, а с миномётом). Мешал четвёртый осколок — самый большой, не обнаруженный коротким зондом полевого хирурга. Его увидели только через полтора года на рентгеновском снимке — рядом с позвоночником.

Второе ранение почти не хромящий младший лейтенант Мареев получил в бою под Сталинградом. Пуля пробила обе ноги выше коленей, осталась в ватных штанах и чувствовалось, что она горячая. Сергей пополз к своим, встретил санитаря, тот посадил раненого на спину и понёс. Марееву казалось, что он слышит, как кровь течёт в сапоги и булькает там. В палатке врач обругал санитаря: зачем подобрал бойца не из своей части? Ноги перевязали, в госпиталь отправили, медалью «За оборону Сталинграда» отметили... Выписавшись, Мареев получил звание лейтенанта, стал командиром миномётного взвода и дошёл до того места под Полтавой, где был ранен в последний раз. Об этом он рассказывал жене и детям не единожды, иногда пропуская известные им подробности, иногда вспоминая ещё неизвестные. И теперь, через годы, внимательная дочь старается вспомнить всё и выстроить слышанное в правильный рассказ.

В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое августа 1943 года под городом Полтавой лейтенант Мареев сидел в окопе и, вооружившись полевым биноклем, наблюдал частичное затмение Луны. На рассвете шестнадцатого миномётный взвод Сергея вместе с пехотой пошёл в атаку. Бой был спланирован крайне безграмотно — так говорил отец. Бежали под пулемётным огнём, и многим удалось добежать до первой линии вражеских окопов. В одном окопе атакующие обнаружили троих немцев и двоих, сопротивлявшихся, убили, третьего же, очень толстого, взяли в плен. Когда пленённого выводили из окопа, он нёс под мышкой кирпич белого хлеба. Советские солдаты дивились тому, сколь жирен враг и сколь бел его хлеб.

Дальше атакующим нужно было дойти до вершины холма — метров двадцать, практически безопасных, спуститься в широкую балку и из неё — в заросший кустами овраг. Отдышаться, выбраться и лезть вверх по склону второго холма. Как только бойцы начали спускаться, противник открыл густой миномётный огонь. Сначала мины перелетали со свистом; Сергей изображал этот свист и показывал, как при взрыве осколки расчерчивали дёрн во все стороны. Бегущие понадеялись, что доберутся до оврага, пока противник корректирует стрельбу. Бить из миномётов по оврагу было невозможно — слишком близко. Не добрались. Мины перестали свистеть и бухаться позади. Теперь они ритмично шуршали и взрывались рядом — с громким сухим треском и выплеском противной химической вони. Пришлось лечь на землю и начать окапываться. Когда зашуршала *его* мина, Мареев ткнулся лицом в вырытую ямку и закрыл руками голову. Мина взорвалась на левом плече Сергея. Так ему показалось. На некоторое время он потерял себя, и это было первым пробелом того пунктира, в который месяца на два превратилось его сознание... Очнувшись, он обнаружил, что из плеча льётся кровь, и не заметил, что осколки попали ещё и в голову. Сергей снял портупю и сделал из неё перевязь для левой

руки; сапёрную лопатку, личное оружие, бинокль, полевую сумку с письмами из дома и необходимыми вещами оставил там, в обстреливаемой балке. И пошёл к своим. Он мог заблудиться, потому что был контужен и соображал с огромным трудом. Надо идти туда, куда летят мины. Для начала это служило верным ориентиром.

Кости в развороченном плече тёрлись друг о друга. Чтобы уменьшить противное трение, приходилось держать левую руку правой. Он видел, как впереди и с боков от него разлетаются на куски металлические цилиндры, полные вонючей мерзости, ощущал запах от взрывов и горько-солёный вкус во рту, осязал, как течёт кровь, внимал шестому чувству и ничего не слышал. Из ощущений была ещё боль, но она не казалась очень уж важным обстоятельством. Шестое чувство говорило: ты не умрёшь, ты не умрёшь, ты не умрёшь. Точнее было бы: ты выживешь, ты выживешь, ты выживешь. Но раненый брёл под напев «не умрёшь». И увидел, что навстречу в полном беззвучии движутся три своих танка. И захотел сообщить танкистам (которые и так это знали), что немцы стреляют чугунными болванками, способными пробить броню. Но как сообщишь?

Он шёл и добрался до окопа, в котором мог бы отдохнуть. Спустившись и сделав несколько шагов, лейтенант наступил на нечто муторно мягкое. Тут же поднялось жуткое количество мух и хлынула волна тяжёлой вони. Он потерял себя... Очнулся, понял, что стоит в незасыпанной могиле на разлагающемся трупе. Сергей упирался в край окопа лбом, не зная, что чуть выше в голове застряли мелкие осколки. Он собирался с силами и старался не вдыхать глубоко. Могила находилась в тупиковом ответвлении окопа; он вышел из тупика, добрался по окопу до живых и сказал бойцу: «Забинтуй!» Тот начал бинтовать голову. Нет, нет, надо — руку, плечо! Забинтовать плечо не удалось. Лейтенант пошёл по склону вниз, и навстречу ему попались два бойца с котелками. Они несли мутную родниковую воду. До начала боя родник был чистым. Солдаты дали Сергею попить прямо из котелка. С головы упали в воду капли крови, смешанной с потом и грязью. Бойцы переглянулись и ничего не сказали. Потом он долго шёл к лесочку, время от времени отключаясь. Обмороки были такие короткие, что он не успевал упасть. Так бывает с эпилептиком. Болезнь имеет простонародное название «падучая», однако больной, регулярно принимающий лекарства, не падает и не бьётся в припадке, а может сидеть или даже стоять, если обморок очень короткий.

Сергей шёл к лесу. Вернулся слух, и стало казаться, что в паузах между взрывами он слышит скрип, с которым трутся кости в раздробленном плече. На опушке леса незнакомый лейтенант в аккуратнейшей амуниции, хорошо побритый, сидел перед расстеленной белой салфеткой. На салфетке были бутерброды. Сидящий отвинчивал крышку термоса. Раненый дошёл до неожиданной картинке и остановился. Перевязь разболталась, левый глаз был залеплен кровью и грязью, ноги не выпрямлялись. Сергей стоял на полусогнутых, подобно орангутану, и ждал. Помощи? Слов поддержки? Может, просто — когда пройдёт удивление. Завтрак на траве был парадоксален. Родник помутнел, и это было понятно. А здесь у странного существа на краю леса — чуть ли не

лоснящиеся щёки и подбородок, сверкающие пуговицы, белоснежная салфетка и аппетитные бутерброды. Из термоса запахло крепким кофе. Аккуратный лейтенант посмотрел на окровавленного лейтенанта и воскликнул с шутливой досадой: «Что за люди! Позавтракать спокойно не дадут!» И Сергей стал огибать лесок. А немецкие самолёты прилетели бомбить обоз, выбравшийся на дорогу раньше, чем следовало.

Бомбёжка шла своим чередом, раненый — своим: иногда падал, вставал, тащился по краю лесочка и набрёл на Раю Камынкину, медсестру из соседнего подразделения. Она делала окопчик и только-то успела снять дёрн, как один из самолётов собрался бомбить этот участок. Девушка быстро уложила Сергея в углубленище и ещё закрыла собой. Бомба летела с обычным мерзким свистом. Воздушная волна, как пушинку, сбросила Раю и выковырнула Сергея. Он поднялся и не смог приблизиться к далеко откатившейся медсестре и хотя бы кивнуть ей. Не было сил на благодарность. Он побрёл дальше по огибающей лес дороге. Перестал видеть. Выставил вперёд правую руку. Скоро услышал: «Эй!.. Солдат! Под лошадь попадёшь!» Раненый решил: раз кричат вдалеке, значит, не ему. Но через два шага ткнулся рукой во влажный тёплый бок. Зрение вернулось, и он увидел эту лошадь. Кричали из укрытия — именно ему. Сергей подумал, что зрение отказывает из-за потери крови, хотел вернуться на дорогу, с которой, конечно, сбился, отвлёл руку от лошадиного бока (или же лошадь сама отодвинулась) и опять потерял: зрение, слух, равновесие...

Очнулся он на колёсных носилках. Над головой сменялись верхушки деревьев, между листьями промелькивали небо и солнце. Припекало. Санитар сидел у ног Сергея и восклицал: «Барсук, вперёд! Барсук, вперёд!» Должно быть, вожак собачьей упряжки очень старался как следует направить «подчинённых», но везти приходилось по просеке, одолевая рытвины и кочки. Благополучно свернуть на дорогу не удалось: носилки опрокинулись, раненый вывалился в кювет, санитар — тоже. В следующий раз Сергей пришёл в себя в землянке. Пахло йодом. Измученному лейтенанту сделали уколы: в живот и в здоровую руку. Ещё промывали плечо и голову. И перевязывали.

Он уснул рядом с чугунной печкой, в которой горели дрова. Засыпая, думал: зачем они топят печку, ведь тепло, жарко даже? На чугунной плите кипятили воду для медицинских нужд. Сергей успел порадоваться, что уходит не в беспамятство, и переселился из землянки в сновидение. Опытные уверенные хирурги сделали операцию и соединили самую крупную его артерию с мельчайшим капилляром. Он стал практически бессмертным — не умрёт, куда вся кровь из артерии не просочится сквозь капиллярчик. Это предыстория; она просто известна, а видит он последнего человека на остывшей Земле — себя. Он лежит и смотрит на закат. Земля сильно приблизилась к Солнцу, всё ещё горячему. Оно выглядит громадным — диаметром в полгоризонта. И очень печёт. Половина красного диска уже закатилась, а на фоне ещё видной половины танцует дракон — второе существо, оставленное распорядителями специально, чтобы развлекать Сергея. Танец похож на лезгинку, и дракон поёт: «Веселись на радость человека, веселись на радость человека...» Это сопровождается высоким непрерывным звуком: кровь с тонким мучительным писком протискивается

Елена Тимохина

Пекарь

Рассказ

Проснулся Пётр Кириллович внезапно. Вздрогнул всем телом и широко открыл глаза. Пару минут тревожно всматривался в тёмный потолок, по памяти проверял мозаику обвалившейся с потолка штукатурки. Не появилось ли новых узоров за прошедшую ночь? Он начинал так каждое своё утро, но осень неизменно брала своё: солнце всходило всё позже, и всё сложнее ему было разглядеть в высоте трёхметровые голые потолки своей квартиры. А может, дело было не в осени, а в его глазах? За последний год они постарели на все десять.

Нет, это был не взрыв. Не звук разбудил его. Это холод. Сунул ледяную руку прямо ему под одежду. И как только умудрился? Пётр Кириллович уже давно спал во всём, что у него осталось: в исподнем, двух изношенных до дыр рубашках, растянутом вязаном отцовском свитере и шерстяном бушлате. Последний достался ему от двоюродного дяди, капитана подводной лодки.

Пётр Кириллович нашёл глазами зияющий проём окна. Позавчера в его доме выбило стёкла, — вот и вся несложная отгадка, как к нему подкрался холод. Шаркая замёрзшими, затёкшими от лежания на полу ногами, старик доплёлся до подоконника. Всё на улице было серым, покрытым предрассветным пеплом, и только слева едва-едва угадывалась застенчивая розовая полоска света. Да луна тонкой хищной улыбкой зияла, застрявшая в этом беспросветном, как их жизнь, ленинградском небе.

Пётр Кириллович нащупал мел, осветил старым фонарём начерченные на голой стене палочки. «А, проклятая наскальная живопись», — разозлился вдруг старик, зашёлся долгим сухим кашлем и сплюнул мокроту на пол. Крепко задумавшись, пересчитав костяшки на трясущихся жилистых руках, Пётр Кириллович вывел полосочку и крестик. По всему выходит, что сегодня 1 октября: второй месяц второго блокадного года.

Тимохина Елена Алексеевна, родилась в Тульской области. Окончила НИУ ВШЭ по специальности «журналист» (бакалавриат) и «менеджер проектов» (магистратура), а также магистратуру «художественного письма» Royal Holloway University of London. Автор книг для подростков «Твои финансы», «Ок! Что дальше», «Бизнес-teesn», любовного романа «Вата» (2022). Автор ТГ-канала «Дочь Достоевского». Живёт в Лондоне. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Там, где Пётр Кириллович рисовал палочки и крестики, когда-то висел календарь. Сонечка, его единственная и любимая на всю жизнь жена, имела привычку вычёркивать оттуда прожитые дни. Она всегда жила в ожидании: то лета, то новогодней распродажи у Елисеевых, то приезда сына в гости. «Как глупая семинаристка, ей Богу, Соня, — бывало, выговаривал он ей. Не из злости, а так, из вредности. — В твоём-то возрасте заниматься такой ерундой!»

Она перестала «заниматься ерундой», когда встретила своего майора. Пётр Кириллович не сразу заметил. Сонечка перестала считать дни, потом читать по вечерам в любимом кресле у окна, потом приходила домой к ужину. Майским утром 1938 года она ушла из дома навсегда. В том декабре Пётр Кириллович впервые купил календарь сам.

Старик положил мел, вздохнул и вышел из квартиры вон. Больше ему здесь было делать нечего: не осталось любимых книг, давно истопили его красное кресло-качалку, старый дедов диван, кухонный гарнитур. Всё, что было ценного, — продали, все, кто был рядом, — растворились. Гулкая пустота — единственная, кто проводил старика из дому.

Пётр Кириллович был пекарем. От дома до пекарни, где он работал, было примерно триста восемьдесят четыре шага. Триста восемьдесят четыре шага туда и триста восемьдесят четыре обратно. Вот уже год как он не месил тесто, не ощущал на пальцах мелкую крошку муки, не держал в руках песочного цвета рязанские яйца, не вдыхал аромат «Бородинского». В начале прошлого сентября город окружили немцы. В тот день он готовил торт для Галины Ивановны, хозяйки небольшого магазинчика на Литейном. Торт вышел на славу: фисташковый крем и шоколадный бисквит, белые и розовые красавицы-розы сверху. Он помнит, как вечно голодные и поцарапанные мальчишеские лица мгновенно облепили стёкла его пекарни, привлечённые волшебным ароматом. Пётр Кириллович сурово потряс кулаком в их сторону, приказав освободить витрины для нормальных покупателей, но мальчишки даже ухом не повели. Напряжённо ожидали своей добычи. Пекарь обречённо покачал головой и усмехнулся. Он уже остужал «испорченный» корж, специально сделанный для дворовых хулиганов. Где они сейчас эти оборванные пацаны? Он не хотел знать. Через две недели после того памятного торта начались перебои с продовольствием, а ещё спустя месяц его пекарня закрылась.

Но Пётр Кириллович всё равно приходил на работу: каждое утро — и в душливый питерский зной, и в хрустальную от холода зимнюю стужу, и когда под подошвами хрустел снег, и когда хрустели выбитые стёкла парадных. Он этим своим упрямством и покорила когда-то Сонечку. Каждый день ходил под окна её общежития, пока, наконец, эта хрупкая светловолосая студентка не согласилась сходить с ним в синематограф. Он женился на ней в двадцать семь, ей было восемнадцать. Он упрямо любил всю жизнь только её одну: ничего вокруг не замечал, кроме её ясного, синеглазого круглого лица. Это не спасло их брак.

Пётр Кириллович и сам до конца не понимал, зачем он ходил в пекарню всё это время. Просто ходил, из упрямства, из вредности. Ходил, чтобы доказать: это он, он сам, единственный и полноправный хозяин своей жизни, а не эти проклятые оккупанты. Они отняли у него и кресло-качалку, и книги, и дом, но эти триста восемьдесят четыре шага туда и триста восемьдесят четыре шага обратно они отнять не смогут! Не смогут отнять у него, не смогут у всех них, ленинградцев, отнять. Потому что все на Литейном видели: старик, согнувшись от ветра, ледяного дождя и шума военных самолётов, шёл на работу, он не сдавался. Не сдавались и они.

Шаг номер семьдесят восемь — любимый сонечкин магазин. Она ходила туда каждое утро купить газеты, поболтать с продавщицей. Продавщицу эту Пётр Кириллович когда-то звал по имени, для неё он готовил торты на день рождения. Но она умерла ещё год назад, и он предпочёл больше не помнить её имени. Осколочное в живот для неё, мощный чёрный снаряд для её магазина. От магазина теперь тоже остались только воспоминания, зияющие пустыми рамами выломанные окна и груда пыльных кирпичей. Даже крысы — и те все давно разбежались, а может, перемерзли, кто их знает.

Навстречу, вдоль домов, пробегает бесплотная серая тень. Одетая тень явно не по погоде: в лёгкой куртке, растянутых, явно чужих, штанах. «Опять Рязановых мальчишка», — не сбавляя шага, думает Пётр Кириллович. Младший их уже две недели лежит в чухотке, помрёт не сегодня-завтра. Такую зиму ему не пережить. А старший вон ещё бегают. Видимо, это голод гоняет его по разорённому проспекту: Пётр Кириллович припомнил, что видел его мельком и вчера, и позавчера. И не его ли рыжая голова заглядывала в пекарню в выходные?

Шаг двести пятьдесят три — подъезд дома Пахома, его школьного друга. Вот, обугленные, стоят окна его квартиры на третьем этаже. Сколько водки они выпили там вдвоём, сколько всего друг другу сказали без слов. Хороший мужик был Пахом, земля ему пухом. Рядом ещё один дом — изуродованный огромной рваной раной от снаряда. Его тут совсем недавно построили, лет тридцать назад. Дом этот младше Петра Кирилловича в два раза. Не нужно бы его жалеть, дом-то этот. Кирпич да деревяшки. Но Пётр Кириллович ничего с собой поделывать не мог — как посмотрит на двести восемьдесят четвёртом шагу вправо, так зубами скрипеть начинает, да руки в кулаки сами непроизвольно сжимаются. Сильнее сжимаются, чем за продавщицу, качалку и Пахома. Это город его, его любимый Литейный проспект. Как он Богу за Литейный в глаза взглянет?

Пока торговался сам с собой, поздно услышал глухие шаги сзади. Не успел обернуться, как почувствовал, что его повалили, затылок пронзила острая боль; ударили то ли кулаком, то ли доской. Старик с громким охом рухнул на землю, в сознание ворвался жуткий пронизывающий хруст.

— Давай бушлат, дед! — услышал он наглый голос, почувствовал запах перегара. Мальчишка лет двадцати бесцеремонно стаскивал с него драгоценный дядин бушлат. Закончив своё дело, нападавший перевернул старика на спину и заглянул ему в лицо. Да это же Рязанов-старший! Рыжий, волосы торчком, на пушистых бровях капли, усы только-только несмело опушились над верхней

губой. Лицо такое юное, почти детское, но уже изуродованное синюшными кругами под глазами, болезненно очерченными скулами и злобным, загнанного животного взглядом.

— Ты, дед, того... зла не держи. Ты своё отжил, а мне держаться надо, — процедил парнишка скомканно и исчез в предрассветном металлическом ленинградском безвременье.

«Дед», — почему-то именно это слово царапает сильнее всего. Видимо, Рязанов тоже предпочитает его, Петра Кирилловича, больше по имени не помнить.

«Петруша, тебе нравится причинять людям боль?» — почему-то следующей вспоминается ему мать. Она часто спрашивала так, когда ей жаловались на маленького сына, снова затеявшего драку с соседскими мальчишками. Нравилось ли ему? Он силился вспомнить, напрягал последние силы, но не мог, он очень устал. Пока шёл упрямо — не чувствовал, а сейчас лежал, распростёртый на земле, и так приятно ему было отдохнуть. Перевести дух. Он вдруг себя таким уставшим, старым и слабым почувствовал.

Неужели когда-то он был босоногим семилетним хулиганом, которого мама ругала? Неужели когда-то у него была мама? Неужели когда-то он шалил и дрался, смеялся и гулял с другими, такими же, как он, сорванцами? С Пахомом? Взаправду ли было всё это с ним?

— Ты, дед, чего лежишь всё? Вставай давай, а то замёрзнешь же! — услышал Пётр Кириллович истеричный голос откуда-то из переулка. Кажется, тот же наглый юнец. Припомнить бы фамилию его — Ростовцев, Костромин... Не то, не то... Вот этот пацан, застывший в нерешительности в ближайшей подворотне. Старик только устало махнул ему рукой. Юнец переступил с ноги на ногу, бросил нервный взгляд на лежащего деда и всё-таки убежал.

Пётр Кириллович посмотрел в квадрат неба. Улыбка луны тут же окрысилась в ответ. Окружавшие дома, словно растрёпанные зеваки, сгрудились над ним, любопытно сверля взглядом. «Ты чего тут лежишь?» — словно повторили они вопрос уличного вора.

«А я своё-то пожил, прав малец», — выдохнул пар им в ответ Пётр Кириллович, он почему-то совсем не чувствовал холода. Он за всех пожил: и за отца, что молодым не вернулся с войны, и за младенца своего чахоточного Арсения, и за мать, что была у него когда-то. Эх, только бы Сонечка успела выехать из Ленинграда со своим этим майором. Только бы Ванька не изжарился там, в этом пекле, только бы вернулся живым, только бы детей своих наделал. Чтобы не зря он сам, Пётр Кириллович, эту землю шестьдесят девять своих лет топтал. Вы уж тут, на Литейном, не сердчайте: больше пекарь на работу не выйдет. Дальше вы уже без него.

Владимир Лидский

Индия в сердце

Этнографическое путешествие

Это была настоящая туристическая авантюра, потому что редкий путешественник мог бы добраться в те места, где удалось побывать нам. Мы видели глубинную Индию, неприкрашенную, неухоженную, такую, какая она есть на самом деле, мы видели людей, тот самый коренной, укоренившийся на этой земле множество веков назад народ, который и составляет суть индийской цивилизации. Мы отправились в настоящее этнографическое путешествие, и всё увиденное нами было аутентичным. Конечно, мы миновали замечательные музеи, которые тоже могли бы рассказать нам много интересного о стране, но музеи мы можем посетить и в другой раз, а вот то, что удалось испытать в глубинке, вряд ли получится испытать повторно.

Дорога

Семь часов езды на джипе по равнине, потом по горным серпантинам, снова по равнине... Водители, к слову, ведут себя на дорогах весьма странно. Начать с того, что правил они не соблюдают, а может быть, в Индии их и вовсе нет. Главное отличие местных дорог — здесь все непрерывно сигналият. Нам поведали, что этому феномену есть объяснение: водитель сигналиит не для того, чтобы предотвратить возможную опасность, а чтобы сообщить миру о своём существовании. Каждой встречной, обгоняющей или стоящей рядом, машине посылается гудок. И какое разнообразие в оттенках звуков! Кто-то гудит басом, кто-то тенорком, а кто-то и дискантом...

Место назначения

После мучительной дороги приехали мы в рыбацкую деревушку Харнай и разместились в симпатичном домике. Обстановка вполне спартанская, как раз для таких отможенных пилигримов, как мы. Из мебели в комнате только кровать.

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Постоянный автор «ДН». Публиковался в журналах «Знамя», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Бишкеке.

Шкафов, стульев, тумбочек и прочих излишеств нет. Правда, есть телевизор, но не думаю, что его можно причислить к мебели. Впрочем, телевизор, если не плоский, как раз удобно использовать как тумбочку. Что мы и сделали. А кровать! Я ведь когда-то и на бетонном полу спал и ничего, выжил, а тут — целая кровать! Упал, словом, на неё и, сказав пару неприличных слов в адрес мирового зла и враждебного капиталистического окружения, временно выбыл из этого противоречивого мира.

Харнай

Харнай — маленькая рыбацкая деревушка, округ Даполи, штат Махараштра. Это запад Индии. Живут здесь около восьми тысяч рыбаков со своими семьями. Ничего особо выдающегося в деревушке нет, кроме разве старинного маяка, мечетей и небольшого индуистского святилища. Знаменит Харнай своим огромным рыбным рынком и несколькими старинными фортами, расположенными в окрестностях.

Побережье

Меня зовут Даярам, что значит «сострадание Рамы». Я родился в этой деревне, её прозвание — Харнай. Жители наши — рыбаки. Ну, а я — возчик рыбы. Моё имущество — две коровёнки зебу и бричка. По меркам деревни я не беден, но живу в лодке. Знаешь, каково в лодке? В ней нет электричества, воды и канализации. Так многие у нас живут. Прямо на берегу. Посмотри, во-о-о-о-н наша лодка. Когда-то мой дед ходил на ней в море. Видишь бухту за фортом? Там он ловил макрель. Сострадание Рамы — это когда есть лодка, ставшая домом и кровом. Сейчас в лодке живём я, моя жена и мой сын. Ему восемь лет, года через два он будет помогать мне с бричкой.

Жёны рыбаков

Наши мужья ловят рыбу. Они удачливы, иначе мы не носили бы таких сари. Сегодня штормит, ветер дует с воды. Мы остаёмся на берегу, мы ждём. Мужья вернутся и продадут рыбу. Вечером здесь зашумит рынок, побегут зебу в упряжках, тук-туки и даже автомобили. Нас можно не замечать среди миллионов. Мы только песчинки в этом разноцветном мире. Но без нас мир беднее.

Бедняцкое жильё

В этих лодках, стоящих между деревней и побережьем, живут люди. Те же рыбаки, у которых нет дома. Лодки пришли в негодность и, наверное, не подлежат ремонту, а вот для жилья пока ещё — в самый раз. Условия, конечно, не лучшие, но и в деревенских хибарках плюс-минус так же. Главные черты местных жилищ — простота, аскетизм и почти полное отсутствие привычных нам цивилизационных благ.

Священные коровы

Нас называют «зебу». Мы священные животные. Нас нельзя есть. В Индии не едят говядину. Но мы работаем. Это можно. Мы таскаем брички на побережье. В бричках рыбаки перевозят рыбу. Мы красивые. Нас украшают. Мы любим эти

незатейливые ракушки, бубенчики и витые шнурочки. Но еды в деревушке мало, кормят плохо, вот мы и едим всякую дрянь, найденную на берегу, и даже — полиэтиленовые пакеты, пахнущие чем-то съестным...

Лавки

Индийские лавки похожи на все сельские лавки мира. Правда, в российских ассортимент побогаче. Индийский товар однообразен. Печенье, конфеты, вода, пряности. Всё такое непритязательное, невзрачное, скромное. Правда, когда были в одной деревушке на храмовом празднике, видели чудесную лавочку. В ней продавались сласти домашней выделки. Необычайного вкуса мармелады из манго, пастилки, пасты из тропических фруктов и много ещё всяких затейливых радостей. А мы ж люди увлекающиеся, мимо пройти никак не можем. Лишние килограммы в багаже, лишние усилия в перевозках, лишние складки на боках... Впрочем, благодаря малосъедобной для европейцев индийской пище, складки на наших боках продержались недолго.

Рыбацкие дворы

Типичный двор харнайского рыбака: голубые сети, поплавки и прочие «приспособы» для рыбной ловли. Незамысловатая рыбацкая жизнь: рано-рано утром промысел, потом рыбный рынок, вечером тоже рынок, а потом — быт, починка сетей и подготовка к новому выходу в море. Жизнь простая, суровая и не всякому по плечу. Поэтому в Харнае есть ремесленники, торговцы, держатели зеленных лавок, аптекари, парикмахеры, механики... Нет строителей, ни разу не видели мы здесь что-либо строящееся.

Фото на память

Прикольный этот мужик. И борода у него смешная. Наши такие бороды не носят. А какой у него английский! Ни слова не разберёшь. Про школу расспрашивал, про родителей, про жизнь. С европейцами сниматься у нас очень почётно. Любим мы их, они классные. Друзьям расскажем, соседям. Фотки обещал прислать. Пришлёт, наверное...

Первая пуджа

Пуджа в деревушке Харнай оказалась столь увлекательной, что мы выпали из времени. Это был храмовый праздник Ганеши, и все, пришедшие в этот день поклониться богу мудрости и благополучия, первым делом становились в большую очередь, чтобы дойти до его изображения. Я стоял возле алтаря, вглядываясь в необычайно красивых людей и дрожа в предвкушении уникальных снимков, когда ко мне подошёл брамин в белых одеждах и стал быстро говорить что-то на маратхи. Тут же подтянулись другие брамины, человек пять или шесть, и громко запели непонятные песни — явно в мой адрес. Я смешался, как смешалось когда-то всё в доме Облонских. Пропев с воодушевлением свои гимны, брамины разошлись по углам храма так же быстро, как и явились. Что это было? То ли Ганеша указал на меня своим хоботом, то ли брамины прельстились нездоровым блеском моих нездешних глаз — кто знает! Я ж красив (местами), в меру упитан и всегда пленяю своим видом самые

разные социальные группы прогрессивных трудящихся мира. Говоря правду, я был смущён и подавлен величием происходящего.

Прекрасные дамы

В Индии не празднуют Международный женский день. И вообще, по данным демографов в стране не хватает сорока трёх миллионов женщин. Связано это в первую очередь с гендерной дискриминацией. Мальчик в индийской семье считается благом, девочка — обузой. Девочку надо вырастить, выдать замуж и собрать для неё приданое. После чего она уйдёт навсегда. Мальчик же останется в семье и будет работать на неё. Но всё равно в Индии — множество прекрасных дам. Они такие красивые, необычные. Они лучезарные и улыбчивые. Они чудесные. Они везде. Они как стаи разноцветных птиц, волшебных, сказочных. Они — как драгоценные камни: блестят и сверкают на радость миру. Они в браслетах, монистах, серьгах. Когда они идут мимо, я слышу лёгкий дребезг и мелодичный звон. Они прошли. Я оглядываюсь: они уходят в шелесте сари, и солнце посверкивает на их голых руках. Они уже далеко, и тут ветер доносит едва слышный аромат ванили, мускуса и сандала — прощальный привет очарованному чужеземцу.

Дети

Индийские дети — это отдельная песня. Это незамутнённый поток, чистый родник, неиссякаемая радость. Они философически свободны и не скованы догмами. Их восприятие мира не искажено условностями. Они смотрят на тебя как на фрагмент природы, сами являясь при этом сутью её. Это такая часть мира, которую нельзя изъять из него. Выпилишь её, выломаешь из стройной системы индийского мироздания — и всё! Мироздание рухнет! Эти глаза, этот взгляд невозможно забыть — ребёнок, у которого за плечами, может быть, уже сотни жизней, смотрит тебе прямо в душу и видит в ней то, что тебе и самому вряд ли ведомо.

Чёрно-белое

Индия, как известно, страна контрастов. Сейчас я думаю, что Индий, по большому счёту, не одна, не две. Их больше, их много больше. И все они разные. Причём это не пятьдесят оттенков серого и не чёрно-белая гамма, как на этих фото. Индия — это многоцветье и разнообразие, смешение религий, плавильный котел цивилизаций. Мы растерялись в этом вихре, и он увлёк нас, как приключенческий роман, как авантюрное предприятие и путешествие к неведомым мирам.

Харнайский грузовик

Я — большой грузовик. Живу в Харнае. Работаю везде. В соседние штаты езжу. Семнадцать тонн способен поднять. Хозяин хороший, любит меня, как жену. Нет, больше жены. В прошлом году купил жене сари и латунный браслет. Меня любит крепче. Украшает меня, не скупится на краски. Я весь в гирляндах, подвесках, колокольчиках. Каждый день получаю красивую обнову. Кабина внутри обита у меня бархатом и бахромой. Сигнал мой — слаще голоса Чакраборти. Я прекрасен, многоцветен

и многолик. В новой жизни стану храмом, таким же прекрасным, многоцветным и многоликим.

Амазонка в красном

Если такая амазонка явится в моём доме, то мне кранты! Я вижу: она мотоцикл останавливает на скаку. Не знаю, как насчёт горящей избы, но мужика своего лядашенького она точно заездит. И не одного его. Она, пожалуй, с десятка таких уделает. Боже, как она на меня смотрела! Думал, она испепелит меня. Но ведь и я не лыком шит. Обфотографировал её со всех сторон. Хорошо, что здесь не Европа, а то бы по фейсу схлопотал.

Сестрёнки

Мама пошла в храм, а мне нянчить сестрёнку. Я старшая, сестрёнка — поскрёбыш. Мама работает на рисовых чеках, а папа — на большегрузе. Очень большая машина. Больше нашего дома. Он сейчас в Бангалоре, знаешь, где это? Я смотрела на карте... очень далеко. А по карте кажется — близко. Хочу к папе, у него сильные руки и твёрдая грудь. Люблю ткнуться ему в живот, обнять... но он уже не подкидывает меня к небу. А сестрёнку подкидывает. Наверное, любит её сильнее.

Резьба по дереву и буйство красок

Один из первых храмов на нашем пути. Их много в стране, в каждой маленькой деревушке их может быть несколько. Встречаются очень древние, многим полторы-две тысячи лет. И стоят, ветер истории им нипочём. Красота неземная, и сделано всё на совесть. Вот именно — на века. Падают царства, приходят и уходят завоеватели, а храмы, если их не разрушили чужеземцы, сияют на радость миру.

Душа страны

Индия — девочка, Индия — дитя. Это и есть душа страны — улыбчивая, глазастая, наивная и доверчивая. Недоступное европейцам приятие мира, лёгкость духовного бытия при всех трудностях бытия земного, безграничность плотского счастья, радость от пребывания во Вселенной и отсутствие страха смерти, потому что впереди — новые инкарнации и понимание, что ты будешь всегда. Вот что такое Индия, многоцветная, разноликая, полная чудес.

Фрески

Ну, и без настенных росписей никуда. Я их невольно сравниваю с росписями в наших церквах. Насколько разный подход в индуистской и православной традициях! Сюжеты наших росписей трагичны и обращены к чувствам, индийские мотивы сказочно-реалистичны, как дождь в Макондо, и рожают мистические фантазии. Волшебные картинки, встреченные нами в одном из храмов, дали моему воображению хорошего пинка, и оно, воображение, сразу принялось продуцировать совершенно невообразимые, фантастические сюжеты...

ИНДИЯ В СЕРДЦЕ. Этнографическое путешествие *Фото Владимира Лидского*

Это была настоящая туристическая авантюра, потому что редкий путешественник мог бы добраться в те места, где удалось побывать нам. Мы видели глубинную Индию, неприкрашенную, неухоженную, такую, какая она есть на самом деле, мы видели людей, тот самый коренной, укоренившийся на этой земле множество веков назад народ, который и составляет суть индийской цивилизации. Мы отправились в настоящее этнографическое путешествие, и все увиденное нами было аутентичным. Конечно, мы миновали замечательные музеи, которые тоже могли бы рассказать нам много интересного о стране, но музеи мы можем посетить и в другой раз, а вот то, что удалось испытать в глубинке, вряд ли получится испытать повторно.



ПОБЕРЕЖЬЕ

*«Меня зовут Даярам, что значит "сострадание Рамы".
Я родился в этой деревне, её прозвание — Харнай».*



ЖЕНЫ РЫБАКОВ

«Наши мужья ловят рыбу. Они удачливы, иначе мы не носили бы таких сари».



ФОТО НА ПАМЯТЬ

«Прикольный этот мужик. И борода у него смешная. Наши такие бороды не носят».



ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ



РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ И БУЙСТВО КРАСОК



ДУША СТРАНЫ.

«Индия — девочка, Индия — дитя. Это и есть душа страны — улыбчивая, глазастая, наивная и доверчивая».



МАРСИАНСКИЕ КАМНИ



БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА

«...и когда предвечернее солнце ложится на этот благословенный берег, я смотрю на маленькие фигурки вдали, на белого зебу в упряжке...»



ЗАТЕРЯННОСТЬ

«Такая романтическая деревня, где почти все друг друга знают, и если бы не повсеместная грязь, казалась бы она райским местечком...»



МАЛЫШИ

«Эта новая жизнь кипит в каждом дворе, и вообще малышей везде очень много».



ДЕРВИШ

«Не знаю, кто я. Не знаю, как меня зовут. Не знаю, где живу».



ВЕРХНИЙ ПОСЁЛОК

«Верхний посёлок рыбаков, где стоит небольшой храм».



ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

«За меня дали хорошее приданое. Родители собрали его восемнадцать лет».



СЕЛЬСКАЯ СВАДЬБА

«Боевая раскраска индийской свадьбы напоминает мне полотна Климта».



ОДНА

*«А это уж отдельная песня. Одна на свете.
Дети давно разлетелись, внуки уже по заграницам».*



ПЕЩЕРЫ БУДДИСТСКИХ МОНАХОВ

*«Буддистско-индуистские пещеры, которым более двух тысяч лет,
спрятаны вдали от хоженных троп».*



ДЖАГДИШ-ПРАВИТЕЛЬ



ИНДИЙСКИЙ СЮР

«Я думаю, последняя папироска с грибами была лишней».



СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ

*«Европейцы на фоне городских коров смотрятся забавно.
Ладно бы это была деревня, но ведь город».*



ИГРУШЕЧКА

*«Маленький храм в золоте заката промелькнул мимо и исчез за поворотом.
Снял, из окна автобуса, и, тем не менее, что-то в этом есть».*

страстей и покаяний; миллионы лиц — миллионы историй. Вглядываясь в них, постигаешь одновременно себя, и тебе никогда не скучно.

Книги

Книжные в Индии тоже есть. Сказать, что мы сильно удивились, увидев такой магазин, значит, не сказать ничего. Правда, человека с книгой или хоть с газетой мы ни разу не встретили. Ни в городах, ни в деревнях. Что тоже удивляет. Не то чтобы индийцы были поголовно хорошо образованны, нет, но страна имеет гигантский интеллектуальный потенциал. Индия — космическая держава и обладает ядерным оружием. В Индии более 500 высших учебных заведений, правда, образование могут позволить себе далеко не все, так как годовое обучение в вузах стоит около пятнадцати тысяч долларов. Но книжные магазины есть даже в небольших городках.

Священное животное

Европейцы на фоне городских коров смотрятся забавно. Ладно бы это была деревня, но ведь город. Куда деваются эти коровы после смерти, в каких райских кушах пасутся? Возможно, в будущей жизни, когда сам стану коровой (быком?), я всё узнаю до мелочей. Тогда и расскажу.

Говядина в Индии, как уже сказано, не употребляется в пищу. Корова для индийцев — священное животное. Впрочем, здесь и вообще с мясом напряжёнка. Нельзя сказать, что его вовсе нет, но индийцы едят в основном вегетарианскую пищу. В сельских забегаловках мяса нет вообще, в крупных городах, в ресторанах для туристов можно заказать европейскую еду, но без говядины. Легко найти блюда из куриного мяса или рыбы. Обобщая, можно сказать, что индийская пища весьма непривычна для человека с севера или запада: слишком много специй, сахара, еда очень острая и необычных для европейца консистенций.

Животные на воле

Заповедник Мудумалай в штате Тамилнад — уникальное место, где можно увидеть огромное количество животных в естественной среде обитания. Это граница Карнатаки и Кералы. Только слонов тут более двух тысяч. И тигры есть, и леопарды, а уж обезьяны так просто стаями носятся повсюду.

Сафари было азартным и увлекательным. Хотя в руках была только фото- и киноаппаратура, а не ружьё. В таких заповедниках пробуждаются какие-то первобытные чувства, это весьма необычный опыт, который даёт совершенно новые представления о жизни и позволяет осознать своё ничтожное место в этом гигантском и разнообразном мире. Ты всего лишь биологическая единица среди сонма иных биологических единиц.

Купание чёрного слона

Люблю Петрова-Водкина и его «Купание красного коня», а вот довелось же увидеть и купание чёрного слона. И это, конечно, незабываемое зрелище! Пятитонный исполин барахтается и резвится в реке, как грациозный котёнок. Слоны обожают воду. Они валяются на мелководье, подняв столбы ног, хлопают ушами и поливают себя

из хоботов. Это настоящий цирк, но ни в одном цирке такого не увидишь. А хозяева слонов дряют их грубые шкуры жёсткими щётками. Слоны при этом послушно подставляют бока, животы и прочие части своих гигантских тел.

Джайны

По дороге в аэропорт встретили джайнов. Главная цель приверженцев этой религиозной доктрины — самосовершенствование души ради достижения всеведения, всеилия и вечного блаженства. Самый страшный грех для джайнов — причинение вреда, боли, неудобства живым существам вокруг. У них даже рот закрыт специальной повязкой, дабы не вдохнуть случайно какую-нибудь мошку. А метёлка — чтобы подметать дорогу перед собой: вдруг на пути попадётся муравей, блоха или войско микробов. Вот так вот. А вы говорите — мировые войны...

Игрушечка

Снял из окна автобуса и, тем не менее что-то в этом есть. Маленький храм в золоте заката промелькнул мимо и исчез за поворотом. Мы промелькнём в своём закатном золоте и так же исчезнем за поворотом, как игрушечный храмик, посвящённый неизвестному божеству, а те, кто ещё не дошёл до поворота, едва успеют помахать нам вслед... Но ведь мы ещё свидимся? Свидимся, а поэтому:

— До свиданья!

Дмитрий Шеваров

Тоска по Татарскому

Радио на стенке говорит негромко.
Ровный, тихий голос каждому знаком.
А ему на печке на своём наречье
Подпеваает чайник тонким голоском.

Маро Маркарян

Так назывался мой первый очерк о Викторе Витальевиче: «Тоска по Татарскому»¹. Это название ему нравилось. Бывало, вдруг вспомнит о нём и в который раз с притворной строгостью спросит: «И вы сами придумали такой странный заголовок?.. А может, редактор?..»

«Да нет, — с ученической поспешностью отвечаю я, — это мой заголовок!»

И тут Виктор Витальевич весело отзывается: «Браво!..»

Тогда, тридцать лет назад, это название — «Тоска по Татарскому» — казалось странным и мне самому. В начале 1990-х Виктор Татарский был на пике своей популярности и как актёр, и как радиоведущий. «Встречу с песней» слушали в стране все, у кого был репродуктор на кухне или транзисторный приёмник на тумбочке. Я же только за две недели до выхода статьи в «Комсомолке» познакомился с Виктором Витальевичем, и впереди были долгие годы нашего счастливого, ничем не омраченного общения. Какая могла быть тоска?..

Виктор Татарский родился 17 ноября 1939 года в семье научных работников, живших в Ленинграде на Кировском (ныне Каменноостровском) проспекте в доме 26/28. Это знаменитый дом «трёх Бенуа» на 16-й линии Васильевского острова. Отец — Виталий Борисович Татарский (1907—1993) — был ученым в области геолого-минералогических наук, преподавал в Ленинградском университете, заведовал кафедрой. Мать — Нина Юрьевна Икорникова (1913—2002) — химик, во время

Шеваров Дмитрий Геннадьевич — журналист, писатель. Родился в 1962 году в Барнауле. Закончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Урал». Автор книг прозы «Жители травы», «Добрые лица», «Вологодская тетрадь», «Воздушная тревога» и др. Автор и составитель изданий о русской поэзии «Тихая пристань», «Двенадцать поэтов 1812 года», «Три счастливых детства», «Ушли на рассвете», «До свидания, мальчики», «Нечаянный Пушкин». Лауреат премий «Ясная Поляна», «Anthologia», Горьковской литературной премии, премии «Александр Невский», имени П.Бажова и др. Постоянный автор «ДН». Живёт в Подмоскowie.

¹ *Д.Шеваров*. Тоска по Татарскому. — «Комсомольская правда», 24 августа 1994.

войны — начальник цеха в Институте галургии; правнучка Николая Гавриловича Чернышевского.

Про первые семь лет жизни Виктора Витальевича мы почти ничего не знаем. Всё, что сам он знал о себе маленьком, — это рассказ матери, относящийся к зиме 1941—1942 годов: «Я везу тебя на санках, вдруг — взрыв. Ты показываешь рукой в ту сторону и смеешься...». Четыре года (с 1942-го по 1945-й), проведенные мальчиком в Доме малютки Петроградского района Ленинграда, и вовсе были скрыты от него непроницаемой завесой. Так было со многими детьми, родившимися в канун войны: Господь прикрыл им ладонью глаза, заслонил от них самое страшное.

О том, что пережил маленький Виктор, мы можем лишь догадываться по редким документам или немногим свидетельствам ленинградцев.

Вот что записывал в дневнике врач Израиль Назимов (он заведовал отделом внебольничной помощи Ленгорздравотдела): «15 февраля 1942. Воскресенье. Просмотрел работу Дома малютки. Плохо. Нужно срочно принимать решительные меры. Борьбы за жизнь ребенка в этом учреждении не чувствуется. Часов в 7 вечера начался сильный артиллерийский обстрел города...»

А вот запись из дневника военного шофёра Николая Елисеева, 24 апреля 1942 года: «В результате налёта имеются жертвы гражданского населения. Одна авиабомба упала в Дом малютки, убила заведующего и несколько детей. Главной целью удара был Васильевский остров... Имеются попадания в крейсер...»

В Ленинграде Дома малютки были открыты во всех центральных районах города. Прежде всего туда направлялись маленькие сироты и дети ленинградцев, ушедших на фронт. О каких конкретно Домах идет речь в приведенных выше дневниковых записях, мы не знаем, но очевидно, что все они страдали от налетов, от голода и холода.

Судя по дневнику И. Назимова, были попытки их эвакуировать, но самое большее, что удавалось, — это вывезти детей на лето в зеленые пригороды Ленинграда, на «дачу».

Память вернулась к мальчику лишь 9 мая 1945 года, когда отец привел его на набережную Невы, где в честь Победы выстроились на рейде расцвеченные огнями военные корабли и раздались залпы салюта.

После расформирования Дома малютки Витя жил у друзей семьи. После войны они разыскали Нину Юрьевну, жившую уже в Москве, и она забрала сына в столицу. К тому времени родители мальчика разошлись. Нина Юрьевна вышла замуж во второй раз. Отчимом Виктора стал театральный режиссёр Валерий Михайлович Бебутов. Человек большой культуры и такта, Валерий Михайлович относился к мальчику бережно, никогда не повышал на него голос. Он понимал, что после того, что пережил Витя, с ним не может быть легко и просто. И характер у Виктора оказался скорее от матери, чем от отца, — взрывной, предельно эмоциональный и при этом скрытный, глубоко замкнутый. Бебутов умел одним словом — в нужной интонации и вовремя сказанным — дать оценку тому или иному поступку Вити. Именно Валерий Михайлович дал пасынку первые уроки актёрского мастерства — уроки владения собой. Благодаря Бебутову перед подростком открылся мир сцены, мир театра.

В Москве Витя оказался новеньким и во дворе, и в школе. Так началась его личная война за свою жизнь и достоинство.

Дети войны — подранки, безотцовщина. Часто — нервные, «психованные», как тогда говорили. Свою обездоленность пацаны вымещали на ровесниках послабее или ребятах помладше. Ни матери, ни милиция с ними не справлялись. Осколки зла и горя, попавшие в детские души, не может извлечь ни один хирург.

Виктор Витальевич рассказывал мне: «Мы жили в деревянном двухэтажном доме. Он стоял на углу Борисоглебского и Собачьей площадки, на месте нынешнего кинотеатра “Октябрь”. Мы там жили с 1947 по 1957 годы. Арбат был бандитским

районом, а наша 103-я школа — хулиганской. На меня часто налетали мальчишки — втроем-вчетвером на одного. Поэтому сейчас, если вижу, что мальчишки обижают слабого или несколько на одного, — я тут же вмешиваюсь. От меня отстали только в седьмом классе, когда я организовал драмкружок имени Сергея Мартинсона и у меня стали заниматься старшеклассники: они домой меня провожали, чтобы я жив остался... А вы спрашиваете, почему я не пишу мемуары. А что вспоминать? Как меня колотили? Или как разводились родители? Или как я оказался в Доме малютки?..»

В последние годы Виктор Витальевич, обычно избегавший говорить в эфире о себе и от себя, признавался, если это было к месту, что он — ленинградец и всю блокаду оставался в ленинградском Доме малютки. При этом он непременно благодарил тех, кто спас его в годы войны. Надеялся: а вдруг кто-то из сотрудников ещё жив и услышит по радио его слова.

27 января 2014 года, в день 70-летия снятия блокады Ленинграда, Виктор Татарский участвовал в прямом эфире «Радио России» и сказал тогда: «Хочу поблагодарить сотрудников детского дома на Петроградской стороне. Я низко кланяюсь им. Они спасали детей. Это был подвиг...»

В ответ слушатели «Встречи...» писали Виктору Витальевичу: «Спасибо тем женщинам, которые в блокадном Ленинграде сберегли вас крошечкой...»

Но ни одна из его спасительниц, увы, так и не откликнулась.

Разбирая почту «Встречи с песней», Виктор Витальевич в особый пакет откладывал письма из Ленинграда. Они звучали в эфире в первую очередь.

В 1970—1980-е годы все свои литературные программы Татарский старался прежде всего показать в родном городе. И ленинградцы отвечали ему любовью. Особенно ему запомнилась худенькая седая женщина, приходившая на все его выступления с маленькой корзинкой, прикрытой салфеткой. «После концерта она подавала эту корзинку мне. В корзинке было домашнее печенье...»

Бывая в гостях у Виктора Витальевича (а жил он в старинном арбатском доме, замечательном не только своими знаменитыми жильцами, но и тем, что в нем находился легендарный «Зоомагазин») и бросив взгляд в окно, нельзя было не вспомнить Ленинград — за окном открывался совершенно петербургский двор-колодец.

В Главную музыкальную редакцию Всесоюзного радио недавнего выпускника Щепкинского училища Виктора Татарского привел Онегин Гаджикасимов. Рекомендация популярного поэта-песенника оказалась убедительной. Кроме того, за плечами у Виктора был опыт работы на Мурманском радио и телевидении. И вот в 1967 году в эфир вышла его авторская «Встреча с песней»¹, ставшая эпохой в истории отечественного радиовещания: появилась передача, целиком основанная на письмах слушателей, создававших её сюжеты, её драматургию.

Виктор Витальевич в разное время вёл на радио и другие популярные музыкальные программы («Запишите на ваши магнитофоны», «Музыкальный глобус»,

¹ Ещё в 1950-е годы журналист Иван Спиридонович Рахилло вёл на Всесоюзном радио передачу с таким же названием. В ней звучали рассказы авторов песен об истории их создания. В середине 1960-х «Встреча с песней» вернулась в эфир благодаря режиссеру Терезе Владиславовне Рымшевич. Но передача тогда выходила эпизодически (чаще всего к красным датам календаря) и была основана на интервью с авторами песен. С 31 января 1967 года начались регулярные (примерно раз в месяц) выпуски «Встречи...». Первые семь выпусков провёл актёр Геннадий Леонидович Бортников. С 1968 года «Встреча с песней» стала выходить в эфир раз в две недели.

о Русском музее. Тогда у Виктора Витальевича была счастливая возможность недолго пожить в родном городе.

«Кому повем печаль мою...»

23 августа 1995

«Встреча с песней» — чеховская передача. В «Доме с мезонином» есть строки — они кажутся написанными человеком, который только что услышал «Встречу...»: «Когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...»

ВикВит: «Когда мне очень грустно, печально и я где-то далеко от Москвы, от дома, я очень люблю перечитывать короткие рассказы Чехова. Очень люблю “Попрыгунью”. Или вот “Ванька Жуков”. Или “Капитанка”. Или рассказ “Тоска”... — “Кому повем печаль мою?..”»

«Кому повем печаль мою?..» — это было одним из любимых присловий Виктора Витальевича. По сути это — эпитафия ко «Встрече с песней». Людям некому было поведать свою печаль, и они писали на радио Татарскому. Он был их печальником. Словарь так трактует это слово: «Тот, кто разделяет печаль; покровитель, заступник, благодетель».

Источник этого горестного вопрошания «кому повем печаль мою?..» — старинный духовный стих, часто звучавший в среде паломников и странников. Стих называется «Плач Иосифа Прекрасного, проданного в рабство в Египет».

Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой,
Известен плач сердечной мой...

12-я аппаратная

20 октября 1995

ВикВит рассказывает:

Один профессор прислал на днях письмо на 35 страницах. Он 30 лет собирался мне написать, а написал только когда у него инфаркт случился.

Тархова мне говорит про начальство:

— Витя, не расстраивайтесь — чем хуже, тем лучше.

— Как это?

— Чем ниже они падут, тем выше окажемся мы.

Как на улице дождь, у нас в 12-й аппаратной вода капает. И это слышно на записи, потом приходится вырезать эти куски и переписывать.

«Жизнь начинается заново именно так...»

24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 85 лет. Конечно, любопытно, каким бы он был старцем, но ещё интересней — как живут его стихи. С одной стороны, ушло придыхание, с которым звучало его имя в девяностых и нулевых, его интонация, ритмика, лексика, его строфа уже не так повально заразительны, с другой — книги регулярно издаются и раскупаются, в кризисные моменты стихи Бродского выстреливают и разлетаются по соцсетям, репостятся, порождают мемы, обретая миллионную аудиторию и вызывая яростные споры.

*...Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
обращается к звуку, к его серебру в соловье,
центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.*

*Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи
в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,
руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи
к бытию вне себя, в просторечьи — к его безголосью.*

*Так лучи подбирают пространство; так пальцы слепца
неспособны отдёргнуть себя, слыша крик «Осторожней!».
Освещённая вещь обрастает чертами лица.
Чем пластинка черней, тем её доиграть невозможней¹.*

Мы решили провести блиц — на два простых вопроса отвечают:

*Алексей АЛЁХИН, Евгения Джен БАРАНОВА, Вера ЗУБАРЕВА,
Геннадий КАЛАШНИКОВ, Алёна КАРИМОВА, Марина КУДИМОВА,
Вадим МЕСЯЦ, Вадим МУРАТХАНОВ, Олеся НИКОЛАЕВА, Александр ПЕРЕВЕРЗИН,
Сергей ПОПОВ, Андрей ФАМИЦКИЙ, Феликс ЧЕЧИК, Константин ШАКАРЯН,
Ганна ШЕВЧЕНКО.*

Итак:

- 1. Ваша встреча с Бродским (его стихами). Впечатление и влияние.*
- 2. Для вас лично Бродский — важный сегодня поэт или достояние канона русской поэзии?*

¹ Иосиф Бродский. Bagatelle.

Алексей Алёхин, поэт (г. Москва)

«Пришедший гений меняет состав литературного воздуха»

В середине примерно шестидесятых все вдруг — и поэтическая братия, и критика — принялись пророчить и поджидать появления у нас «нового Пушкина». Помнится, даже в «Литературке» писали. И кого только не прочили на данную *вакансию*, чуть ли не Юрия Кузнецова. А к этому времени нагловатый и рыжеватый молодой тунеядец из Ленинграда понаписал уже немало шедевров из тех, что теперь всякий знает. Смешно получилось.

Когда чуть позже, в конце 70-х и уже в 80-е, его хорошенько прочли, всё стало очевидным. На радость большинству, а кому и в огорчение. Явился *первый поэт*. И дело не в том, что *первый*, а в том расстоянии, которое сразу отделило его от *вторых* — притом что тоже настоящих, значительных. Бродский стал последним по времени, пятым или шестым, смотря как считать, великим русским поэтом XX века.

Гений всегда мешает современникам. С ним неудобно. Это как геологический фактор, выросшая вдруг гора, и с ней ничего не поделаешь. Смешно и глупо ворчать на гору, что не на том месте выросла. Но не обошлось и без того. Причем, занятно, едва ль не чаще заслуженных лауреатов и кумиров эстрады огорчились обитатели «бойлерных», числившие себя первыми в очереди на пьедестал, как только место освободится.

Очухавшись от первого потрясения, поэты-критики-литературоведы принялись сперва осторожненько, а потом уж и с вызовом поругивать Бродского за «причиненный поэзии вред».

Под «вредом» в первую очередь понимали тут же расплодившуюся армию его эпигонов. Чему смешно удивляться: всякое яркое явление искусства заведомо порождает массу подражателей, и чем оно ярче, тем их больше. Их и правда хватало, и длилось это лет десять с лишком, пожалуй. Потом прошло. Нынче «под Бродского» пишут разве совсем уж тормознутые дилетанты — а другие, как и встарь, под Пушкина, под Некрасова, под Есенина и под Сергея Михалкова, ну а самые продвинутые под Мандельштама.

До первых серьезных изданий поэзия его наплывала порциями, путая хронологию. Весь Бродский первых лет эмиграции — это непрерывная ностальгия плюс тоска по утраченной женщине. Оттого и стихи такие длинные, что и ностальгия, и тоска бесконечны.

А по мне, самое притягательное в стихах Бродского эдак до конца 70-х — их видимая небрежность. Как в божественных мраморах Микеланджело, как в полотнах Хальса. Позже он принялся отделять вещи тщательнее. Хотя, скорее всего, его б и ещё куда качнуло — поэты, бывает, сильно меняются с возрастом. Жаль, что написанного семидесятилетним Бродским мы не почитаем.

Ольга Балла

Четыре персонажа в поисках выхода

Денис БЕЗНОСОВ. Территория памяти: Роман / Послесловие А.Скидана. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. — 376 с.

Новый роман Дениса Безносова — вторая часть трилогии, первая часть которой, «Свидетельство обитания», вышла в 2023 году (и по большому счёту должна бы быть рассмотрена вместе со второй, но дождёмся третьей, по выходе которой станет видно устройство и общая логика всей конструкции в целом). Парадоксальным образом этот текст (в отличие, пожалуй, от «Свидетельства обитания») довольно легко разделяется на «форму» — способ высказывания, мыслительный аппарат — и «содержание», совокупность вопросов и проблем разной степени неразрешимости, которые автор предлагает читателю прожить и продумать. Это последнее вычленяется из «формы» (независимо от степени её сложности или даже вследствие этого) без труда — тем ещё более, что иной раз высказывается попросту открытым текстом: проблема вины и ответственности, возникающая в связи с большими катастрофами. В данном случае она рассматривается на материале катастрофы минувшей и уже, казалось бы, многократно и тщательно осмысленной: Холокоста и, шире, фашизма, подмявшего под себя Европу, — помимо уничтожения евреев под руководством одного из главных героев книги Безносова, Отто Эйхмана, в поле внимания в романе втягиваются также аншлюс Австрии и захват гитлеровской Германией Судетской области тогдашней Чехо-Словацкой республики.

Прежде всего эта проблема предстаёт тут в облике проблемы личной ответственности за преступления государства — с одной стороны, тех, кто, подобно гражданину Германии Карлу Ясперу, причастен к этим преступлениям по всем приметам не был (куда скорее, был их потенциальной жертвой), с другой — тех, кто, как «архитектор Холокоста» Отто Эйхман, был непосредственным организатором этих преступлений и, по существу, старательным их исполнителем (здесь же рассматриваются и свойственные людям в такой позиции способы самооправдания).

Кроме того, это проблема влечения человека к насилию, к участию в коллективном (например, хотя и не обязательно, государственном) насилии — и оборотной стороны этого, добровольной виктимности. Феномен фашизма, считает автор, — лишь частный, хотя и слишком выразительный случай этого. Безносова занимают именно общечеловеческие корни насилия независимо от исторических обстоятельств, поэтому среди множества разновременных героев в романе присутствует американский исследователь Стэнли Милгрэм с его знаменитым экспериментом (состоявшимся

чуть позже, чем иерусалимский суд над Эйхманом и его казнь, — в 1963-м), в котором «учитель» бьёт током «ученика» за неверные ответы, показавшим, что многие согласны причинять мучения другим — даже если не испытывают к жертвам ненависти и насилие не доставляет им никакого удовольствия, — когда ответственность за это берёт на себя некое начальство, а они «просто выполняют приказ». Ради чего такое делается — в конечном счёте совершенно неважно.

«...Не имеет значения, как обоснуют ущербность (уничтожаемых. — О.Б.), будь то этническое, политическое, гендерное, какое угодно отличие, теоретически другой может быть ущербен потому, что неправильно завязывает шарф, тушит говядину, расставляет мебель в гостиной, или, скажем, изъясняется не на том языке, или изъясняется на том языке, но говорит не то, что следует говорить, или его язык выглядит как нечто правильное, но изо дня в день умышленно искажаемое».

Далее, это защита (или отказ защищаться) людей от чувства вины и причастности — независимо от степени реальной вины и причастности. Потребность человека в психологическом комфорте и невозможность такового в некоторых исторических ситуациях. Можно даже сказать и шире — отравленность катастрофой и виной самого воздуха, причём на много, много десятилетий вперёд. Молекулы этого яда даже в двадцатых годах нашего столетия чувствует в воздухе австрийской столицы изредка появляющийся на страницах романа безымянный повествователь (неведомо, в какой степени он тождествен автору; поскольку этот персонаж, внезапно врываясь в текст, изъясняется монологически, от первого лица, в формате эссе, — ещё один из жанровых источников и компонентов «Территории памяти», — назовём этого персонажа в рабочем порядке «эссеистом-монологистом»).

На все перечисленные темы, многократно проговоренные к нашему времени на разных материалах, автор, строго говоря, ничего радикально нового не сообщает. Наиболее нетривиальное тут, пожалуй, — демонстрируемая Безносковым многодесятилетняя пропитанность злодеяниями воздуха тех мест, в которых они некогда совершались, отравленность ими всего, возникшего позже. Тут, можно сказать, автор — изысканнейший эстет по способам выстраивания текста — являет себя настолько категоричным этиком, что не всякий проповедник способен с ним соперничать. Оказывается, одно другому не только не противоречит — даже более того: сложная эстетика способна, выходит, обернуться инструментом этики. Таким образом Безносков утверждает нечто вроде *метафизичности этического*, принадлежности его к самой природе вещей. Если взять соответствующие соображения в их чистом виде, они займут очень немного места (пересказывать их — примерно то же, что пересказывать прозой стихи, тем более что тексты Безноскова в глубоком родстве с поэзией; но мы отважимся). Получится примерно вот что.

Действительно глубокий и совестливый человек, как, скажем, немец Карл Ясперс, независимо от степени личной причастности к тому, что устроила его страна, и возможности хоть как-то повлиять на происходящее, чувством ответственности мучиться будет всё равно — может быть, именно вследствие её неосуществимости. Он даже найдёт способ её отработать — примет решение опубликовать в послевоенной Германии свои лекции о политической вине и ответственности, прекрасно отдавая себе отчёт в том, как на них отреагируют его сограждане: на дворе 1946 год, вся страна ещё — разверстая рана, у людей разрушены жизни. Жена будет его отговаривать (в романе это тоже показано). Ясперс всё-таки опубликует этот текст — «Die Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage»¹, откажется от немецкого гражданства

¹ Русское издание: Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / Пер. с нем. С.Апта. — М.: Прогресс, 1999.

и уедет в Швейцарию. И это при том, что он — вместе с женой-еврейкой, которой угрожала смертельная опасность, — все нацистские годы был со своим народом там, где его народ, к несчастью, был. Умрёт он в Базеле, это уже за рамками повествования.

Чувством вины и неосуществимой ответственности на протяжении всего романа будет мучиться и Ханна Арендт (основной объём связанного с нею текста уходит на бесконечные, почти безнадежные блуждания Ханны по жаркому, изматывающе-детально — взгляд вязнет, внимание захлёбывается — прописанному Иерусалиму в апреле 1961 года в поисках театра Бейт ха-Ам — места, где должен состояться суд над разысканным всё-таки в пригороде Буэнос-Айреса Эйхманом. Вина её, немецкой еврейки, избежавшей уничтожения в гитлеровской машине смерти, будет связана, правда, не с судьбой её народа и уж никак не с тем, что устроила её страна, но вина всё равно будет — неразрешимая, неотступная: связанная с самоубийством Вальтера Беньямина, бежавшего из Франции от нацистов и покончившего с собой на франко-испанской границе, в городке Портбоу. В своём эссе о Беньямине¹ она рассказывает об этом так: «В испанском прибрежном городке группка эмигрантов, к которой он присоединился, узнала, что именно в этот день Испания закрыла границу и испанские пограничники не принимают виз, выданных в Марселе. Эмигрантам было предложено тем же путём на следующее утро вернуться во Францию. Ночью Беньямин лишил себя жизни, и поражённые его самоубийством пограничники разрешили оставшимся проследовать в Португалию». Ханна оказалась в Портбоу на следующий же день после его гибели. Могла бы, неотвязно думается ей, уберечь, отговорить — если бы оказалась рядом чуть раньше, совсем чуть-чуть... — кровать в гостинице, на которой Вальтер убил себя предыдущей ночью, только что была снова аккуратно застелена. Ханна могла бы успеть — и не успела (сцены, связанные с этим, повторяются в романе многократно, лишь немного меняя формулировки).

(Мысль автора, следовательно, такова: степень вины и ответственности, которую чувствует, которой мучается человек, зависит никак не от того, что он реально мог сделать, а единственно от степени его личной чувствительности, совестливости и глубины.)

Отто Эйхман, вина которого чудовищна, а ответственность огромна, этими категориями не оперирует вообще и выстраивает самооправдание с безупречной логичностью. «...Вы думаете, — говорит он перед казнью беседующему с ним журналисту, — что я и мне подобные бездумно выполняли приказы, отчасти это так, были приказы, которые мы вынуждены были выполнять, поскольку система не разрешала ослушаться, кроме того, повторюсь, каждый из нас обладал малой толикой крайне ограниченной информации, знаете притчу о слепых и слоне, вот и мы видели только часть произошедшего, точно как вы сейчас...» — ну и так далее, поток доказательств несравненной его правоты может быть прерван в любом месте.

(...И даже: чем бессовестнее человек, тем виртуознее и логичнее он оправдывается.)

От личной вины и ответственности среди четверых ведущих героев книги может быть назван свободным разве лишь Томас Бернхард, написавший поставленную в 1988-м в венском Бургтеатре пьесу "Heldenplatz" («Площадь героев») о событиях аншлюса 1938 года, об ответственности за эти события тогдашних австрийцев — «неудобную, поистине оскорбительную вещь». Вместе с режиссёром Клаусом Пайманом, поставившим пьесу, Бернхард оказывается адресатом яростного негодования потомков современников аншлюса, категорически не склонных принимать на себя никакую

¹ Его цитирует в послесловии к роману Александр Скидан.

ответственность, — и это полвека спустя после описанных событий! Его даже избивают на тёмной венской улице — нет ни малейших сомнений в том, что именно за это.

«Следует немедленно привлечь господина Бернхарда к ответственности за преступную дискредитацию, кроме того, было бы не лишним проверить, как господин Пайман ведёт дела и что позволяет себе ставить в знаменитом, всемирно известном венском учреждении культуры, которым по праву гордится всякий житель нашего города, говорят случайные прохожие».

А прошлое-то, оказывается, не проходит. Оно не проходит настолько, что автор не видит никакого смысла в том, чтобы выстраивать повествование в хронологической последовательности, — и не делает этого (у предложенной им последовательности какая-то другая логика). Но об этом чуть ниже, поскольку в тексте и без того немало сложностей.

Перечисленную выше совокупность, в общем-то, простых и ясных мыслей романист умудрился упаковать в чрезвычайно сложно организованную, высоконеочевидную форму. (Мысль, заваленная грудой едва ли не самоценного материала — описаниями иерусалимских, венских, берлинских улиц, людей на них, интерьера и посетителей кафе, происходящее в котором забирает в большую, почти ускользающую от внимания рамку всё повествование в целом... — сильно рискует затеряться.) Догадаться, для чего форма потребовалась именно такая, в конечном счёте не удалось, — но отдельные предположения разной степени дерзости всё-таки есть.

Прежде всего — о времени действия, расширенном настолько, что есть соблазн назвать его уже и всевременьем (*малым всевременьем*, поскольку в основном оно не распространяется за пределы XX столетия — захватывая иногда и XXI, назовём его *временем наблюдателя* или эссеиста-монологиста, если это одно и то же лицо). С нетривиальностью временной организации текста напрямую связаны, кажется, и все остальные его сложноустроенности. Прерываемое недолгими и немногочисленными историческими экскурсами — например, в историю Судет, историю венских кофеен... — классически-линейно выстроены только эти экскурсы, — романное время имеет три опорные точки: 1946-й — Ясперс в Гейдельберге, 1961-й — Арендт и Эйхман в Иерусалиме и 1988-й — Бернхард в Вене, и периодически к этим точкам возвращается, при том, что те же ведущие герои оказываются и в других узлах времени-пространства (например, Бернхард — в Гамбурге 1970 года; Арендт — в Гейдельберге своей юности, где она слушала университетские лекции Ясперса; Эйхман — в своём, выдуманном автором, детстве). Но вообще время действия рассредоточено по всему XX веку, захватывая и предвоенный 1913-й (год воображаемой встречи Сталина и Гитлера в Швейцарии), особенно сгущаясь в конце 1930-х и в 1960-х. Перемещение точки внимания (в данном случае, скорее, камеры, «киноглаза», говоря языком одного из здешних эпизодических персонажей) в ту или иную сторону выглядит произвольным — если только не предположить, что автор следует тут логике воспоминаний и ассоциаций с её каждому известной прихотливостью. Вполне возможно, — тем более что к этому отсылает и само название романа.

Вопрос: кто является субъектом этих воспоминаний и ассоциаций? Способны ли они принадлежать одному человеку?

Вопрос, на самом деле, очень интересный и явно связанный с устройством фигуры (фигур?) повествователя. Время от времени в романе внезапно возникает некое «я», никогда себя не называющее, почти не проговаривающее своих обстоятельств (иногда вдруг возьмёт и удивится: «Непонятно, зачем я здесь присутствую...»);

можно догадаться, что собственное его время — условные «наши дни» (по крайней мере, как горит Нотр-Дам, он по телевизору — будучи притом в Буэнос-Айресе — наблюдал). Столь же неожиданно и незаметно (если не сказать — немотивированно) «я» исчезает.

Этот «я» — один из персонажей многонаселённого романа (если он вообще один, а не разные «я», чего тоже исключать нельзя). Персонажей разной степени эпизодичности, как именитых (как, скажем, Натали Саррот, Марина Абрамович, Дзига Вертов, Сабина Шпильрейн, Винфрид Георг Зебальд, Сергей Параджанов... — уже одно только их присутствие расширяет романное пространство до головокружительности; список неполный), так и безымянных — помимо четырёх ведущих — здесь вообще великое множество, они возникают внезапно и столь же непредвиденно исчезают. Такова, например, вдруг появляющаяся семья немецких эмигрантов в Аргентине, живущая в том же буэнос-айресском пригороде Оливос, что и Эйхман перед арестом. Снабжённые именами, характерами, судьбами, даже родственниками и гастрономическими обыкновениями, Марта и Лотар Германы и дочь их Сильвия вспыхнут, чтобы не появиться более никогда и не сыграть никакой роли в развитии событий. Сильвия один раз, правда, появится — «через восемь лет» после описанных событий, «в третьем ряду в кинотеатре на Авенида Триунвирато», где «смотрит новый фильм модного шведского режиссёра» (похоже, Бергмана), чтобы затем исчезнуть совсем бесследно и навсегда. В подробности и конкретности и повествователь, и эссеист-монологист, если они не одно лицо — и даже если одно, — существенно уступают Германам.

Так вот — возможно, поспешный — предполагаемый ответ на вопрос о структуре здешнего субъекта. Это субъект диффузный, рассеянный по всему, в пределе, объёму коллективного сознания вообще (или мерцающий — периодически концентрирующийся). Отдельные персонажи — лишь ступки его.

Да, ведущих — плотных, устойчивых — персонажей всего четыре: «Четыре персонажа в поисках выхода, Ясперс за громоздким столом в кабинете, Ханна на раскалённой площади, Эйхман на стуле в тюремной камере, Бернхард в театральном зале, во втором ряду» (вот что ещё им соответствует, как мы, собственно, отчасти уже заметили выше: четыре разных этических не то что позиции, но ситуации. Четыре разных этических модуса). Другие — появятся и растворятся снова. И повествовательский, наблюдательский субъект потому и не имеет внятной определённости, что привилегий в этом смысле у него нет никаких.

С этой диффузностью субъекта наверняка связано то, что в романе нет диалогов и монологов как таковых — по крайней мере, они никак не маркированы, речь идёт сплошным потоком, сливается с речью повествователя, не без усилий вылушивается из неё. Это речь-вообще, всехняя речь.

И воспоминания с их прихотливой логикой принадлежат чему-то вроде общекультурного сознания, коллективной памяти.

А наблюдает за происходящим всерьёз, кажется, сама история — или уж её Создатель, для Которого, понятно, все времена существуют одновременно, оттого и возможно так легко перемещаться между ними, накладывать их друг на друга.

(Впрочем, повествователь — или эссеист-монологист — иногда вдруг демонстрирует некоторые истоки своего текста: «В детстве я плохо понимал, как устроена хронология, никоим образом между собой не связанные отдельные события были рассредоточены по времени-пространству, их порядок отчасти определялся последовательностью узнавания, отчасти степенью пускай и сомнительной, но важности». Рассредоточив

происходящее скорее по пространству, чем по времени: Гейдельберг — Иерусалим — Вена, возвращает ли повествователь себя в позицию детской растерянности перед непостижимой историей?)

Роман избыточен и щедр, соперничая в этом с самой природой. Идёт ли это на пользу мыслям, продумать которые предлагается читателю? Честно сказать, не всегда, и даже чаще нет, чем да. Складывается ощущение, что литературу в этом тексте побеждает кинематограф — хотя видно, что, по замыслу автора, они должны бы не соперничать, а очень тесно сотрудничать, и в общем-то стараются это делать. Но один из этих союзников-соратников оказывается всё-таки сильнее.

Вот — то важное, с чего, наверное, стоило бы даже и начинать. Это литература, которой мало быть только литературой, которая почти отказывается ею быть. Текст выстроен как синтез двух типов высказывания — литературного и кинематографического. Почти на всём своём протяжении роман написан как сценарий готовящегося фильма или как экфрасис фильма воображаемого, уже состоявшегося (а может быть, и то и другое вместе взятое). В рамках одного искусства автору тесно: он их сращивает, — что вполне можно истолковать как расширение возможностей литературы за счёт техник, заимствуемых прежде всего у кинематографа, его способов видения, способов организации материала. Кинематографом как источником расширяющих роман инструментов автор не ограничивается, обращаясь и к источникам более традиционным, включая в текст и сновидения героев (каждое — совершенно самодельный видеоряд), и эссеистические фрагменты (например, о Джамбаттисте Вико, который «заговорил об истории как о продукте человеческой деятельности» и предложил свою модель развития исторического процесса). Но влияние на текст киноискусства с его специфическими, преимущественно визуальными задачами здесь — доминирующее.

Автор постоянно обращает внимание на то, как рассказанное должно быть увидено на экране: «...Подрагивающий кадр, как с ручной камеры, затемнение»; раздаёт указания невидимым сотрудникам по съёмочной группе, как снимать: «персонаж не двигается, напрашивается крупный план на его истощённом лице», «иногда Бернхард смещён в левый угол кадра», «камера опрокидывается в окно, приближается, следит сквозь стекло <...> затемнение», «всё движется в замедленной съёмке», и даже (но это редко) какой требуется саундтрек: «Карл Орф, Veris Leta Facies, дирижирует Фрюбек де Бургос».

Это фильм, снимаемый с помощью слов (и явно испытывающий влияние фильмов уже снятых, цитирующий их; автор ведёт интенсивный диалог со своими кинематографическими предшественниками, не раз прямо ссылается на их опыт: «...Они застыли, как в фильме Рене Клера»; можно заметить даже и такие нетривиальные ходы, как словесный фильм в словесном фильме — Бергман, которого смотрит вполне случайная героиня в буэнос-айресском кинотеатре); литература, осуществляемая кинематографическими средствами. По аналогии с уже утвердившимся в правах полноценной культурной формы графическим романом, Безносоз создаёт ещё одну, новую форму — *словесный фильм*, создаваемый единолично (подобно графическому роману, который тоже создаётся единолично — и который тоже своего рода фильм!), предназначенный к снятию и просмотру силами читательского воображения под руководством автора-режиссёра по авторскому же, шаг за шагом прописанному, сценарию, с активным участием автора-декоратора. Впрочем, это — не столько жёсткая инструкция, сколько развёрнутое размышление о том, как такой фильм стоило бы снимать, с обилием отступлений. Это и не кино с его непосредственной суггестией, но собирание на читательских глазах матрицы для его изготовления.

Несомненной удачей этого сложного и, пожалуй, рискованного эксперимента следует признать то, что у Безносова получается вращать кино в литературу без утраты важнейшего её компонента — аналитичности. Он даже, пожалуй, усиливает её — притом, что характерно, кинематографическими средствами, пристальным вглядыванием, крупными планами, замедленной съёмкой.

Влияние на литературу кинематографа тут можно было бы назвать даже агрессивным — если бы, с другой стороны, этот текст не был и более обычного литературным: слово в нём берёт на себя повышенную нагрузку, стараясь работать не только как это ему привычно, но ещё и так, как это делают визуальные образы.

И кстати о времени: доминирующее время романа — кинематографическое: в основном текст написан в настоящем времени, как предлагаемый к съёмке сценарий. Оно чередуется здесь со временем некинематографическим (условно говоря, литературным), — так происходит в эссеистических фрагментах и исторических экскурсах.

Приходит в голову ещё вот что: при таком способе повествования в романе не присутствует будущее. Оно тут выведено из оборота даже как позиция наблюдателя / нарратора, обычно — в традиционно организованной литературе — всезнающего и рассказывающего обо всём в прошедшем времени. Прописывая текст как сценарий, то есть как будто чисто технически, повествователь таким образом отказывается от привилегированной позиции, от защищённости своим будущим, своей дистанцией. Наблюдатель всех этих сцен не знает будущего, абсолютно разделяя свою беззащитность перед ним со всеми, о ком он говорит.

Может ли это быть названо ещё одним суждением о ситуации человека в истории?

«Четыре персонажа в поисках выхода». Но выхода из истории — и памяти — нет.

Впрочем, «сценарный» способ повествования у Безносова, кажется, многофункционален. Автор строит текст для наблюдения принципиально извне — как опять-таки в кино, лишая читателя (почти неизменно в традиционной литературе) возможности отождествления с персонажами (или освобождая его от этой вполне принудительной возможности). Всё описываемое он выкладывает на прозекторский стол. Интонации его бесстрастны, как (прозекторский же) скальпель. В отличие от традиционной литературы (да, кстати, и от традиционного кино), Безносов не заставляет читателя испытывать те или иные чувства и состояния, — он показывает возможности для их возникновения. (Что до эмоций, то его нарочито монотонной речью они, куда скорее, нивелируются. Думай, читатель, всё-таки лучше головой.)

Похоже, что этот текст взял на себя очень много интересных задач, — далеко превосходящих по объёму те несколько (действительно сложных, но вполне обозримых) мыслей, ради которых он писался. Перегруженный роскошными замыслами, внутренними ходами, намеченными, а в большой мере и осуществлёнными, возможностями, он всё-таки, чувствуется, уводит от своего смыслового ядра во много разных сторон сразу (можно сказать и так: перерастает его во много разных сторон сразу). От чего разбираться в нём — нисколько не менее интригующая задача.

Евгений Абдуллаев

Dum spiro spero

В стремительное время живем.

Только вот в прошлом «барометре» проанонсировал разговор об Ассоциации писателей и издателей России (АСПИР), как — вот, пожалуйста.

«АСПИР прекращает работу. У нашей команды больше нет возможности делать то, что мы делали».

Это сообщение, опубликованное 31 января в телеграм-канале АСПИРа, произвело эффект небольшой разорвавшейся бомбы. 252 комментария (на момент, когда это пишу). За исключением десяти-пятнадцати злорадных, остальные — сочувствующие.

Да, действительно, жаль.

Не буду оценивать это решение и гадать о причинах. Вероятно, таковые имелись, чтобы закрыть организацию, созданную всего четыре года назад. Не очень большую, но и не маленькую. И главное — активно работавшую.

Одно предположение всё же выскажу.

Из отклика сайта «Вопросов литературы»: «...Трудно назвать другое объединение, сделавшее бы больше для современной литературы в последние годы. Встречи в библиотеках, музеях, поддержка толстых литературных журналов, проекты книжных издательств, школы писательского мастерства... Пожалуй, самым важным здесь было именно ощущение единства поверх барьеров и убеждение, что — несмотря на неизбежные стилистические, поколенческие и идеологические разногласия — работа в пространстве современной русской литературы может вестись плодотворно и сообща»¹.

Вот, пожалуй, ключевой момент: единство поверх барьеров. Поверх идеологических разногласий. *Единство*.

Этот момент присутствовал и в других откликах. Евгений Попов отметил, что в АСПИР «мирно сотрудничали антагонисты». Марина Кудимова: «объединение расчленённого писательского сообщества».

Что ж тут плохого? Ничего. Просто воздух времени сейчас, похоже, другой.

Единственным недостатком АСПИР было то, что она возникла слишком поздно.

¹ Лёгкая кавалерия, № 1, 2025 // Сайт «Вопросы литературы» (URL: <https://voplit.ru/column/vypusk-1-2025/>).

АСПИР была долгим эхом 2010-х. Даже — нулевых.

Если огрубленно, то нулевые были временем *консолидации*. После девяностых и «войны всех против всех». Именно в 2000-е возникли важные объединяющие проекты. Например, Липкинский Форум — в области литературной учебы. «Большая книга» — в области премиального процесса. Созданы они были, напомню, при косвенной поддержке госструктур.

Логично, чтобы тогда возникла если не АСПИР, то организация аналогичного типа. Скажем, после встречи с писателями 16 февраля 2007 года в Ново-Огарёво. Этого не произошло.

Хотя уже было ясно, что без системной (а не от случая к случаю) государственной поддержки литература обречена на угасание. Не в состоянии она в век компьютеризации прокормиться книжным рынком, всё более сжимающимся под натиском новых видов получения информации и проведения досуга.

Опять же, воздержусь от оценок и гадания по поводу причин, почему такая структура не была создана. Не произошло.

На смену консолидации нулевых пришли 2010-е, с их *атомизацией*. Распадается на субкультуры, суб-субкультуры, суб-суб-субкультуры читательское сообщество — распадается и литературный цех. На группки, кружки, тусовки.

Вспоминаю разговор на Красноярской книжной ярмарке осенью 2016-го.

Зашла речь о поэтических премиях. О том, что большинство их носит откровенно тусовочный характер. Что, к сожалению, нет тут чего-то аналогичного «Большой книге»...

«А разве “Большая книга” — не тусовочная премия?» — поинтересовался поэт С., присутствовавший при разговоре.

Очень симптоматичная для 2010-х реплика.

Утрачивалось представление о масштабах и иерархиях. При маргинализации литературы, её вытеснении на периферию общественного внимания, всё начинало казаться равным всему. «Большая книга» — премии, изготовленной «на коленке» мной и другом Васей (Петей, Машей...). Чухонцев — Ах Астаховой (был и такой сюжет). Серьезная литература — массовой, а та и другая вместе — любительской.

Сама идея иерархии начинала казаться устаревшей, архаичной.

И одной из причин этого было *недофинансирование*. Литература, как и всякий другой культурный институт, не может существовать на самопрокорме, без материальной подпитки извне. Государственной или меценатской; а лучше — и той, и другой.

Все 2010-е меценатская поддержка, подкармливавшая литературу в 90-е и нулевые, стремительно сокращалась. Что-то, конечно, продолжало осуществляться. Уже упомянутая Красноярская книжная ярмарка, поддерживавшаяся, как и премия «Новая словесность» (НОС), Фондом Михаила Прохорова. Или Иркутская книжная ярмарка, финансировавшаяся «Вольным делом» Олега Дерипаски. Опять же, «Большая книга» и две другие крупные премии — «Национальный бестселлер» и «Поэт» (ставший «Поэзией»). Спасибо, господа, мы помним.

Но в целом в 2010-е меценатские средства уходили. И проекты, осуществлявшиеся на них, закрывались один за другим. «Русский Букер», «Дебют», «Премия Белкина», премия Юрия Казакова. Журнал «Арион».

Меценатские средства уходили — другие не приходили, или приходили мало. Хотя государственная поддержка всё десятилетие, похоже, даже возростала. (Тут бы статистика пригодилась, но её, увы, нет).

И новые проекты возникали. Институт перевода. Новые книжные фестивали; прежде всего на Красной площади. Сайт «Год литературы». Начало системной поддержки и финансирования библиотек, благодаря чему они превратились в важные центры продвижения современной русской словесности. Тоже — помним и ценим.

И тем не менее.

Именно в 2010-е почти все крупные литературные журналы оказались перед угрозой закрытия: не на что стало издаваться, платить аренду, зарплату редакторам, гонорары авторам. Там, где гонорары ещё выплачивались, размер их стремился к нано-величинам. По этой причине перестает выходить один из старейших журналов «Октябрь» (формально он ещё не закрыт), закрывается выходявший четверть века «Арион» и созданный в десятые и десятые не переживший *Homo legens*.

Именно в 2010-е закрываются многие поэтические фестивали, возникшие в предыдущее десятилетие. Именно в 2010-е из крупных газет исчезают разделы, освещавшие новости литературы.

Список потерь можно продолжать.

Почему тогда не возникла организация, аналогичная АСПИР? Способная спасти многие важные проекты, объединить рассыпающееся, как песок, литературное поле, хотя бы частично вернуть серьезной литературе её престиж? Оставлю этот вопрос для будущих историков литературы. Не возникла. Хотя после Литературного собрания 21 ноября 2013 года казалось — вот-вот. И идея уже овладела массами, и документы, как рассказывают, были готовы. Но звезды снова встали в какую-то не слишком благоприятную для современной словесности позицию.

Если 2000-е были годами консолидации, 2010-е — атомизации, то 2020-е, похоже, войдут в историю литературы как годы *конфронтации*.

Возникла она не сразу, ей предшествовал двухгодичный ковидный «затакт». 2020-й и 2021-й, собственно, ещё по своему духу принадлежат предыдущему десятилетию. Ковид и жесткие требования самоизоляции довели атомизацию, нараставшую все десятилетия, до предела, почти до абсурда. Все закупорились в своих квартирках, реальных и ментальных.

В 2022-м маятник качнулся в обратную сторону. Литература, как и общество, стремительно распадается на два противоположных лагеря. Внутри них возникают новые единства, новые иерархии. Но не по эстетическим, а по исключительно политическим основаниям. Культурные имена двух иерархий-антагонистов *эстетически* как раз довольно близки. Скажем, стихи поэтессы Д. и стихи поэтессы П. произрастают на одной и той же стилистической делянке. Но попробуйте где-то просто упомянуть их имена рядом...

Впрочем, еще по диаметру проходили: противоположности сходятся.

Но главное, в чем сходятся и условные «либералы», и не менее условные «патриоты», — это абсолютная нетерпимость. Нежелание слушать, нежелание понимать. Непрерывное выискивание «чужих», «предателей», «врагов»... «Как же зеркально похожи борцы за свободу и борцы за несвободу!» — как точно написала пару лет назад на своей страничке в соцсетях филолог Дина Магомедова.

Или, если вспомнить высказывание более чем столетней давности: «...Иногда мне мерещится, что с той и другой стороны хочется крови, просто “хочется” и просто “крови”».

Так Василий Розанов писал о русской революции 1905 года. К чему эта жажда крови (ещё и разогретая следом Первой мировой) тогда привела, напоминать, надеюсь, не нужно. Не хотелось бы повтора.

Особенно достается тем, кто пытается — да, именно примирить. Понизить градус антагонизма. Консолидировать то, что ещё не разбежалось по враждующим лагерям.

Тут уж камни летят с обеих сторон. И в замечательный проект «Культурная инициатива» (причем больше даже со стороны «либералов»). И в возрожденную (увы, ненадолго) «Русскую премию». И в «Большую книгу». И — в АСПИР.

Да. Ассоциация писателей и издателей России, созданная в конце 2020-го, приступила к активной работе в 2022-м. А приступив, почти сразу оказалась под двойным огнем.

Стоит, впрочем, внести некоторое уточнение. Оба обстрела не слишком приятны. Но если со стороны условно «либерального» лагеря дело ограничивается моральным и репутационным ущербом, то со стороны противоположного оборачивается вполне осязаемым, административным. Запрещенные к продаже и выдаче в библиотеках книги. Отмененные выступления авторов. Проверки книжных магазинов. Список можно продолжить.

Констатирую это, опять же, безоценочно. Тем более что российская ситуация — далеко не уникальна. Правоконсервативное движение набирает силу и в Западной Европе, и в США; и тоже затрагивает литературу.

Например, так называемые войны за запрещенные книги (banned-book wars), уже несколько лет идущие в США. По данным Американской библиотечной ассоциации в некоторых штатах усилиями консервативных активистов к выдаче в школьных библиотеках запрещена даже классика. «Колыбель для кошки», «Великий Гэтсби», «Повелитель мух», «Убить пересмешника»... В целом количество запрещенных в отдельных штатах книг с 2020-го по 2022 год выросло более чем в сто раз — с 223 до 2571¹.

А пару лет назад The Washington Post опубликовала статью под красноречивым заголовком: «Школьным библиотекарям грозит новое наказание в войнах за запрещенные книги: тюрьма». Да, именно так. В Арканзасе, например, сотрудники школьных и публичных библиотек за хранение в открытом доступе «непристойных книг» могут получить до шести лет лишения свободы².

Но то, что «за границей — та же кутерьма», как-то не особенно бодрит.

Менее чем через два месяца после объявления о закрытии АСПИР, 27 февраля прошел съезд Союза писателей России. Было избрано новое руководство, поставлены новые цели. По сути, трансформировать СПР в основной инструмент государственной политики в области литературы, каким когда-то был Союз писателей СССР.

О причинах, побудивших выбрать для этой цели СПР, опять же, гадать не буду. По поводу писательских союзов и их роли в современной литературе (крайне незначительной) я уже в этой рубрике высказывался («Дружба народов», 2017, № 4).

¹ *Teichner M.* War of words: The fight over banning books // Сайт «CBS News». 23 апреля 2023 г. (URL: <https://www.cbsnews.com/news/war-of-words-the-fight-over-banning-books/>)

² School librarians face a new penalty in the banned-book wars: Prison // Сайт «The Washington Post». 18 марта 2023 г. (URL: <https://www.washingtonpost.com/education/2023/05/18/school-librarians-jailed-banned-books/>)

Но — по крайней мере, хорошо, что с закрытием АСПИР целевая государственная поддержка литературы продолжится. Прозвучали на съезде и слова о необходимости привлечения писателей с разными взглядами и позициями. Сергей Степашин призвал не отталкивать «тех писателей, у которых есть своя точка зрения». Михаил Швыдкой вспомнил сдачу постановки «Юноны и Авось» в Ленкоме в 1982 году: «...Люди, которые, в общем, придерживаются разных взглядов, разных позиций <...> бережно и трогательно относились друг к другу».

Выступил и избранный председателем СПР Владимир Мединский. Отметил, что литература все эти годы государством недофинансировалась. «Если финансирование госзаказа в сфере кино измеряется миллиардами, если в сфере театра, будем откровенны, театральная великая русская традиция поддерживается в огромном объёме предоставленной театрам государственной собственности и больших государственных субсидий, которые составляют львиную долю бюджета большинства театров, то литература не получала и не получает почти ничего — ни денег, ни внимания».

Что ж, хорошо, если эту тенденцию удастся переломить — и одновременно избежать идеологической литературы. Не углублять конфронтацию. Удастся ли? Когда возникла АСПИР, тоже хватало скептических голосов — я сам был одним из скептиков («Дружба народов», 2021, № 10). Но тогда же пожелал «сил и попутного ветра» Сергею Шаргунову и его команде; пожелаю этого и тем, кто пытается сейчас реанимировать и реформировать СПР — это ещё более тяжёлая задача (если вообще осуществимая), чем та, что стояла перед АСПИР.

Вообще, этот очерк так первоначально и собирался назвать, «От АСПИР — к СПР». Но потом вспомнил известное крылатое выражение, созвучное обеим аббревиатурам. На нем и остановился. Dum spiro spero.

Пока дышу — надеюсь.

Борис Минаев

Радостная и лёгкая

«Лето господне» Шмелёва было полностью опубликовано в Советском Союзе уже в перестройку, конкретнее — в 1988 году (хотя избранные главы печатались в журнале «Новый мир» ещё в 1964-м под другим заглавием, а спустя двадцать лет несколько глав вошло в «худлитовский» сборник 1983 года).

Это и понятно: с одной стороны тут налицо махровая «религиозная пропаганда», с другой — Шмелёв «белый эмигрант», ярый антисоветчик, приветствовал Гитлера (как врага Сталина: враг нашего врага — наш друг, как известно), после войны долго отмывался от клейма коллаборациониста, каялся, узнав правду о преступлениях фашистов.

Странно даже, что в доперестроечные годы дозволили к печати!

Но что-то, видимо, уже тогда произошло с его репутацией: Шмелёв явно переместился в разряд «забытых русских классиков», певцов родного пепелища и отеческих гробов (пушкинские строки помянуты в эпиграфе к роману), старой Москвы, устоев и традиций.

Кому-то зачем-то понадобился этот набор ценностей и тогда, в андроповском 1983-м, несмотря на все идейные прегрешения писателя, которого Томас Манн номинировал на Нобелевскую премию.

Полный текст «Лета Господня» вышел из печати, как уже было сказано, в горбачёвском 1988-м, началась эпоха «возвращенной» литературы, от тамиздата постепенно отлетала приставка «там» — издавать стали всех, кого было нельзя, и уж тем более роман, построенный как цепочка «престольных праздников», пришелся ко двору в год тысячелетия Крещения Руси, отмечать которое Горбачёв задумывал как большую и важную кампанию реабилитации религии как важнейшей «общечеловеческой ценности».

...И вот прошло почти сорок лет.

Литература изгнанная, запрещенная давно вернулась к нам.

Шмелёва простили и реабилитировали. Даже перенесли его прах из Франции и позволили похоронить в Донском монастыре, неподалеку от того места, где происходит действие романа, — то есть от дома его отца на Калужской улице.

Российской православной церкви возвращено множество храмов и монастырей, строятся новые сотнями и тысячами.

Народ наш заново воцерковился, соблюдает посты, блюдет обряды, готовит куличи на Пасху, истово молится. Пусть не весь, но в достаточно большом количестве.

«Лето Господне» — не просто стало хрестоматийным, в полном смысле этого слова, романом (то есть отрывки есть в школьных пособиях по литературе, по ним пишут сочинения и пересказывают на уроках), его текст можно найти на десятках православных сайтов.

Забейте в поисковик название — и вы найдете несколько страниц ссылок.

Теми же, кто искренне любит Шмелёва, роман не раз прочитан, осмыслен, процитирован, подарен потомкам в назидание на день рождения, ну и так далее, и так далее.

И первый вопрос, который рождается в душе, когда идёшь на премьеру «Лета господня» в РАМТе, — зачем?

Вернее — почему именно сейчас?

Почему не тогда, в 88-м, в 90-м, в 93-м, когда текст воспринимался ещё как очень «горячий», нужный и свежий?

Почему не в дальнейшие годы, когда «новое воцерковление» двинулось полным ходом, в храмах бурно шли ремонт и реставрация, писались новые фрески и создавались новые иконы, и даже появились художественные книги о церкви — «Современный патерик» Майи Кучерской, скажем, или «Несвятые святые» Тихона Шевкунова?

Руки не доходили или сложен этот язык Шмелёва для театра — слишком слабые ответы, дело в чём-то другом. Почему всё же именно сейчас появилась его театральная версия?

На сцене — множество персонажей одновременно, и «главных», и «не главных», собственно, второстепенных тут и нет: и сам отец, и Ванятка Шмелёв, и дядька Горкин, и приказчик Василь Василич, и все работники, и работницы, — все они главные, потому что на самом деле единственным и главным персонажем тут оказывается дом подрядчика Шмелёва. Дом как живое существо, переживающее всё, что переживает человек: лето, осень, весну и зиму, а вместе с ними Рождество и Масленицу, Крестопоклонную и Пасху, — переживающее страшное горе и безмерное веселье, это существо со множеством лиц и рук, московский дом, то есть развернутый в Москву со всеми её ярмарками и развлечениями, кладбищами и храмами, рынками и реками.

Появляется и священник, появляется и гробовщик, посланцы другого, так сказать, как бы *отдельного* мира — но и они тут свои, не лишние, и они вливаются в общий хор голосов.

Я бы сказал, что для того, чтобы поставить очень густую, очень непростую в своей философии прозу Шмелёва, нужна одновременно очень изобретательная и очень простая режиссура (Марина Брусникина), в которой каждый голос, каждый характер, каждый нюанс должны сливаться в общую музыку дома-человека, который живет своей жизнью, который сам — повторяюсь — живое существо.

Как передать его звуки, запахи, тени, солнечные пятна, шорохи по углам, его скрипящие половицы и сквозняки? Невозможная задача, но благодаря деталям — режиссёрским и актёрским — это всё-таки получилось.

Текст Шмелёва поражает обилием деталей, подробностей — недаром художник спектакля (Нана Абдрашитова) вдоль стен расположила привычные ящики библиотечного каталога, только огромного размера — в них есть всё.

И отец (Евгений Редько), и мальчик Ванятка (Максимилиан Кутузов, Дима Брусникин), и выросший Иван Шмелёв (Александр Деветьяров), и Горкин

(Алексей Блохин), и Василь Василич (Тарас Епифанцев) — персонажи, безусловно главные, и через них идет сюжет, и вокруг них располагается действие, *и всё же — нет.*

Гадают, «выкуривают Масленицу», переворачивают «дилижан» на ярмарке, поют, ловят рыбу, пируют на Пасху, плачут на похоронах, ловят во время ледохода отвязавшиеся барки с товаром на Москве-реке, пьют и каются, и снова едят, болеют и любят, и это как-то всё вместе у них получается, никто не лишний, все нужны в любую секунду.

Всегда все вместе.

Это странно. И поразительно.

Ну и Москва, как ещё один «общий дом», большой дом — который вбирает в себя много таких домов — с грибным рынком, со святочным разгулом, с чайными, с прогулками в Нескучном саду — тоже отчасти персонаж, но уже — «второго плана» (хотя для меня — первого, и как же хочется пройти по ней, этой шмелёвской Москве).

Конечно, здесь есть и золотые купола, увиденные с Воробьёвых гор, и Донской монастырь, и торжественная святость церковной службы, и «простонародная» вера Горкина, с его лаконичными проповедями. Жизнь, которую запомнил ребенок, ясная, цельная, искренняя и страстная — прошита церковным календарем, покоится на нём хронологически. И всё же в какой-то момент ты ясно понимаешь: роман-то вообще не про это.

У Шмелёва это всё-таки просто жизнь в первую очередь.

Полнокровная, богатая на события. Да и вообще — богатая.

Религия, вера — только часть жизни. Причем радостная и легкая.

...Многие помнят фантастический список постных блюд из романа «Лето Господне». Или описания пасхального стола. Или грибного рынка. Или просто — трактира. По этим описаниям можно составлять кулинарные книги забытой русской кухни, а вернее — забытой русской жизни. Да, тут целое пиршество жизни, и в непосредственном, прямом, и в образном смысле. И да, вера, религия, это её важная часть, но к ней не сводится всё это богатство.

Богатство жизни — полнее, масштабнее, величественнее и проще любого истолкования, любой идеологии.

Есть люди, создающие это богатство — трудом и расчетом, есть тысяча социальных связей и привычек, есть целая вселенная разных людей, которые составляют этот московский мир — с этими рынками, с этими праздниками, с этими вселенными-домами.

...Так куда же всё это делось?

В интервью после премьеры Марина Брусникина говорила о том, что, в очередной раз читая этот текст Шмелёва, всё время задавалась вопросом: как могло так случиться, что те же самые люди, которые были и набожны, и искренни в своей вере, разрушили всё это, как они могли взрывать эти церкви, разорять их, расстреливать священников?

И массово убивать других людей?

И вот ответ, который мы получаем здесь, на сцене РАМТа — сама *жизнь* была разрушена. Её богатство, её таинство.

Жизнь мирная, жизнь полнокровная, жизнь как дом. Общий дом для всех.

Он рухнул под тяжестью политических событий.

И вот когда всего этого вдруг не стало, — люди ожесточились. Восстали. И против религии в том числе.

Я сейчас много гуляю по Москве и часто захожу в церкви, храмы, где я раньше не был. Мне интересна их история, архитектура. Внутреннее убранство. В каждом храме своя особая атмосфера, они совсем не похожи друг на друга, унификации и однообразия я не чувствую.

В этих местах особенно ясно ощущаешь линию разрыва. Кровотокающий шов истории.

Вот свежие, только что нанесенные фрески. Где-то ещё голые стены. Имена расстрелянных, репрессированных священников. Фотографии руин и развалин.

Недавно был в храме Живоначальной Троицы в Кожевниках: последний советский объект, который там находился, — это цех по производству лифтов. Всё было разрушено, вся уникальная архитектура семнадцатого века. Восстанавливать, реставрировать эту церковь пришлось десятки лет. И так везде.

Зарубцевался ли этот разрыв, зажил ли адский шов?

Наверяд ли.

Гармонии, описанной Шмелёвым, между жизнью и верой, чистой, радостной гармонии, уже, может быть, никогда и не будет.

Но самое главное даже не это.

Главное — чтобы не возник снова этот шов. Этот чудовищный разрез на теле нации, на её истории. Вот поэтому именно сейчас нам понадобился Шмелёв с его гимном той полнокровной и богатой жизни. Гимном гражданского мира (и мира вообще), живого радостного дома, семьи, любви.

Нам понадобился Шмелёв с его личным ответом на трагедию Гражданской войны.

Не знаю, правильно ли я понял мысль театральную, заложенную в этих сценах, в этой музыке «Лета Господня».

Но этот текст, и литературный, и театральный, — он открыт для прочтения, толкования, открыт для личной интерпретации. В этом его, может быть, главная прелесть.

Summary

The holiday with tears in your eyes

The eighty-fifth anniversary of the Victory in the Great Patriotic War is a reason one more time to glance back at the events of those years and to hear the echo that reached our days, changed the lives of many a man, peoples and countries and now, in the XXI century shaping our present and future.

For the Great Patriotic's generation the war was not a big surprise. It was expected, they had been preparing for it. And still it hit hard like a locomotive and crushed all that was accustomed, dear and beloved. It swept like devastating hurricane over all addresses and lives and has demanded from everybody to make one's own choice – to enter one's own door.

The long short story of Georgij Gratt "Doors of the War" is about the first days of the long-awaited and still unexpected war, about its mystical inevitability and readiness to overcome.

For Denis Kolchin, the journalist from Ekaterinburg who covered the armed conflicts in many points of the ex-soviet territory is important that the people he is writing about understand: they have to do not with a planted informer but with a passionate altruist. In his long short story "The Black Garden" he comes back to his own experience and says that for him the main idea is as follows: "Whoever, for whatever and with whomever is fighting everybody's blood is the same and the Mothers' grief is the same and the children are equally yearning for their parents who died before the time".

"Vagif and he, Arthur. Here they are walking. There is the kind of understanding between them that sometimes happens between equally tired men. Not very young, smoking the same bitter cigarettes". Vagif is an experienced soldier, Arthur – press photographer, formerly he was photographing flowers, now – the war. The protagonists of Suhbat Aflatuni's short story "The Flowers" are an Azerbaijani and an Armenien. In this bloody war – between men and women – they are on the same side.

The theme of the war arises also in the section of poetry of this issue. The collection of poems by Alexei Dyachkov living in Tula will be remembered first of all by his poem "The City of Maria" – about the tragical events in Mariupol and the fates of its residents. The author of the cycle "The Trench Poems" Konstantin Bylinin from Chelyabinsk is meditating on his own life which is "for Motherland and the son, for all the sons to live with no war". The poems of the poet from Novosibirsk Kristina Karmalita are breathing with the air of her native spaces "where there is much pain (the war always loved us) but also much hope for the peace".

The round table by correspondence in which poets of different generations take part is dedicated to the 85-th anniversary of Joseph Brodsky.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**

<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте

<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»

Москва, ул. Тверская, 17

(вход с Малого Гнездиновского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Золотые страницы «ДН»

**Сергей Орлов
(1921–1977)**

Когда это будет, не знаю,
В краю белоногих берёз
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слёз.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду,
Что было девятого мая
С утра в сорок пятом году.

1975

